



Шедевр в самом буквальном смысле слова,
причем на всех уровнях: роман идей, семейная хроника,
личные драмы на фоне драм исторических...

The Times

18+

Большой роман (Аттикус)

Антония Сьюзен Байетт

Детская книга

«Азбука-Аттикус»

2009

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Байетт А.

Детская книга / А. Байетт — «Азбука-Аттикус»,
2009 — (Большой роман (Аттикус))

ISBN 978-5-389-12091-4

От автора удостоенного Букеровской премии романа «Обладать» и кавалерственной дамы ордена Британской империи – столь же масштабный труд, хроника жизни нескольких семей на рубеже веков. В этом многослойном произведении с невероятным тщанием воспроизводится жизнь, которую перечеркнет Первая мировая война. Подобно Прусту в его эпопее «В поисках утраченного времени» или Голсуорси в «Саге о Форсайтах», Байетт удивительно подробно описывает время, утраченное уже навсегда: и костюмированный праздник в усадьбе, и всемирную выставку в Париже, и секреты прикладного искусства, и сложные повороты любовных отношений...

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-12091-4

© Байетт А., 2009
© Азбука-Аттикус, 2009

Содержание

I. Начала	6
1	6
2	17
3	27
4	32
5	47
6	58
7	67
Кустарник	80
8	87
9	92
II. Золотой век	103
10	103
11	114
Конец ознакомительного фрагмента.	121

А. С. Байетт

Детская книга

Посвящается Дженини Аглоу

A. S. Byatt

THE CHILDREN'S BOOK

Copyright © 2009 by A. S. Byatt

All rights reserved

© Т. Боровикова, перевод, примечания, 2016

© Д. Никонова, перевод стихов, 2016

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Книга Антонии Байетт о детях. Маленьких, больших и неприлично больших, играющих в сложные игры рубежа веков. Чудесная эпоха, лучшие книги которой были написаны как будто для малышей. «Детская книга» – это суперподробная панорама бесчисленных ловушек, парадоксов и противостояний, ожидающих того, кто выбирает между реальностью и фантазией. Это роман о том, что в сказку можно попасть, а можно и попасться. Или нечаянно уронить туда близкого человека. Что надо сделать, чтобы твоя сказка оказалась счастливой? Ну что же, идите вон по той тропинке, будьте осторожней с гоблинами и ничего не бойтесь. Если повезет, узнаете.

Книжное обозрение

Антония Байетт – английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файф-о-клок.

TimeOut

Не просто роман, а живая ткань самой истории.
Daily Express

I. Начала

1

На Галерее принца-консорта стояли два мальчика и смотрели вниз на третьего. Было 19 июня 1895 года. Принц-консорт умер в 1861 году. Он успел увидеть лишь начало задуманного им огромного проекта по созданию группы музеев, в которых британские мастера могли бы изучать лучшие образцы декоративно-прикладного искусства. Мозаичный портрет принца – скромного, увешанного медалями – красовался на тимпане декоративной арки в одном конце узкой галереи, висящей над Южным двориком. В самом Южном дворике было еще больше мозаик – портреты художников, скульпторов, гончаров, «Кенсингтонская Валгалла». Третий мальчик сидел на корточках у одной из внушительных стеклянных витрин с золотыми и серебряными сокровищами. Том, младший из двух наблюдателей, подумал про Спящую красавицу в стеклянном гробу. Он поднял взгляд на портрет Альберта и подумал, что сосуды, ложки, ларцы, сверкающие в жарком свете под стеклом, – словно клад, найденный в царской гробнице. (Действительно, некоторые из них оттуда и взялись.) Третьего мальчика было нелегко разглядеть, потому что он был по другую сторону витрины. Кажется, он рисовал ее содержимое.

Джулиан Кейн чувствовал себя в Южно-Кенсингтонском музее как дома. Отец Джулиана, майор Проспер Кейн, занимал в музее должность особого хранителя драгоценных металлов. Джулиану только что исполнилось пятнадцать лет. Он, пансионер школы Марло, сейчас жил дома, оправляясь после тяжелой болезни: он только что переболел желтухой. Он был среднего роста, хрупкого сложения, с резкими чертами лица и желтоватой (даже до болезни) кожей. Прямые черные волосы он разделял на прямой пробор. Одет он был в школьный форменный костюм. Том Уэллвуд, двумя годами моложе Джулиана, в куртке с поясом и в бриджах смотрелся совсем мальчиком. У него были большие темные глаза, мягкий рот и гладкие темно-золотые волосы. Мальчики только что познакомились. Мать Тома приехала с визитом к отцу Джулиана – ей нужна была помощь, кое-какие сведения для ее работы: она писала сказки, которые пользовались успехом у читателей. Джулиана отрядили показать Тому сокровища. Но, кажется, Джулиану гораздо сильнее хотелось продемонстрировать сидящего на корточках мальчика.

– Я же говорил, что покажу тебе загадку.
– А я думал, ты имел в виду что-то из сокровищ.
– Нет, я про него говорил. С ним что-то нечисто. Я за ним давно приглядываю. Он что-то затевает.

Том подумал, не фантазии ли это, сродни тем, какими увлекались и в его семье, – его родные иногда принимались следить за совершенно незнакомыми людьми и сочинять про них всякие истории. Он подумал: может, Джулиан решил, если можно так выразиться, поиграть в зорких стражей.

– А что он делает?
– Фокус индийского факира. Он исчезает. Вот он есть, а вот его нет. Он появляется каждый день. Сам по себе. Но куда и когда он исчезает – увидеть невозможно.

Они крались по галерее, увешанной бордовыми бархатными занавесями. Здесь были выставлены разные вещи из кованого железа. Третий мальчик не двигался с места и продолжал упорно рисовать. Потом немного передвинулся, чтобы смотреть под другим углом. Мальчик был оборванный и грязный, с копной соломенных волос, в брюках, словно снятых с заводского рабочего, на подтяжках, с обрезанными штанами и во фланелевой рубашке цвета дыма, покрытой пятнами сажи. Джулиан сказал:

– Давай пойдем туда и выследим его. С ним точно что-то нечисто. Он с виду совсем из простых. И еще он, кажется, никуда отсюда не уходит. Я ждал у выхода, чтобы пойти за ним следом и посмотреть, куда он пойдет, но он как будто и не уходил вовсе. Можно подумать, он тут живет.

Мальчик на миг поднял чумазое, наморщенное хмурое лицо.

– Он сосредотачивается, – сказал Том.

– Я никогда не видел, чтоб он с кем-нибудь говорил. Студентки из Школы искусств иногда с ним заговаривают, но я ни разу не видел, чтобы он с ними болтал. Он только прячется по углам. Что-то в нем есть такое зловещее.

– Вас часто обкрадывают?

– Отец все время говорит, что смотрители музея преступно неосторожны с ключами. А ведь тут всюду кучи, горы вещей лежат просто так – ждут, когда их занесут в каталоги или отправят в Бетнал-Грин. Ничего не стоит сунуть что-нибудь в карман и улизнуть. Я даже не знаю, заметит ли кто-нибудь. Сматря что взять, конечно, – если кто-нибудь стащит Глостерский канделябр, думаю, это быстро заметят.

– Канделябр?

– Да, Глостерский канделябр. То, что этот мальчишка все время рисует. Вон та здоровая золотая штуковина посреди витрины. Он древний, и другого такого нет. Я тебе покажу. Мы можем спуститься, подойти в тот зал и пугнуть мальчишку.

Тома мучили сомнения. В третьем мальчике было какое-то напряжение, непонятная упрямая энергия, готовность ко всему – Том даже не отдавал себе отчета, что он это почувствовал. Но он согласился. Он обычно на все соглашался. Они двинулись в путь, краучясь, подобно сыщикам, короткими перебежками под прикрытием бордовых бархатных занавесей. Мальчики прошли под портретом Альберта, по лестнице, сворачивающей под углом, вниз, в Южный дворик. Но когда они дошли до Глостерского канделябра, чумазого мальчишки там уже не было.

– Он не проходил по лестнице, – произнес Джулиан, охваченный азартом.

Том остановился, не в силах оторвать глаз от подсвечника. Подсвечник был тусклово-золотой, тяжелый с виду. Он стоял на трех ногах, каждая в виде длинноухого дракона, зажавшего свирепыми когтями кость и грызущего ее острыми зубами. Край шипастой чаши, куда вставлялась свеча, тоже поддерживали драконы с разверстой пастью, с крыльями, со змеящимися хвостами. Толстый центральный стержень образовали сплетенные фантастические листья и ветви, в которых люди и монстры, кентавры и мартышки извивались, ухмылялись, гримасничали, хватали и разили друг друга. Гномообразное существо в шлеме, с огромными глазами, цеплялось за извилистый хвост рептилии. Были тут и другие люди или кобольды, особенно выделялся один, с длинными вислыми волосами и скорбным взглядом. Том немедленно решил, что нужно показать подсвечник матери. Он попытался запомнить фигуры, но не преуспел. Джулиан принял читать лекцию. Он сказал, что у подсвечника интересная история. Никто не знает точно, из чего он. Какой-то золотой сплав. Вероятно, место изготовления – Кентербери, там сделали форму из воска, а потом отливку, но за исключением символов евангелистов на центральном утолщении, по-видимому, подсвечник не задумывался как религиозная утварь. Потом он оказался в Ле-Манском соборе, откуда пропал во время французской революции. Французский антиквар продал его русскому – князю Салтыкову. Из коллекции Салтыкова подсвечник и попал в Музей Южного Кенсингтона. Он уникальный, других таких не существует.

Том не знал, что такое символы евангелистов. Но он видел, что эта вещь – целый мир тайных сказок. Том сказал, что надо показать подсвечник его матери. Может быть, это именно то, что она ищет. Ему хотелось потрогать головы драконов.

Джулиан беспокойно озирался. За алебастровым рыцарем-часовым, стоящим на мраморной плите, была скрытая дверь. Сейчас она стояла слегка приотворенной, чего Джулиан нико-

гда раньше не видел. Он частенько дергал ручку, но дверь всегда была заперта – этого и следовало ожидать, так как она вела вниз, в подвальные хранилища и мастерские.

– Быось об заклад, он пошел туда, вниз.

– А что там внизу?

– Много миль коридоров, стеллажей, подвалов… разные вещи, с которых снимают слепки, или чистят, или просто так хранят. Давай его выследим.

В проходе было темно – единственный луч света падал на верхние ступеньки из приоткрытой двери. Том не любил темноты. Не любил нарушать правила. Он сказал:

– Мы там ничего не увидим в темноте.

– Оставим дверь приоткрытой.

– Кто-нибудь придет и запрет ее. Нам влетит.

– Не влетит. Я здесь живу.

* * *

Они на цыпочках спустились по неровным каменным ступеням, держась за тонкие железные перила. У подножия лестницы путь преградила железная решетка, за которой простирался длинный коридор, смутно видный, словно на другом конце его был источник света. Потолки были готические, сводчатые, как в подземельях церкви, но облицованные белым глазуреванным кирпичом фабричного производства. Джюлиан раздраженно тряхнул решетку, и она распахнулась. Он подумал, что и решетку тоже напрасно оставили незапертой. Кого-то ждут неприятности.

Коридор привел в пыльный запасник, заполненный толпой белых истуканов – мужчин, женщин, детей – с невидящими глазами. Тому показалось, что это – пленники подземного мира, а может, и погибшие души. Статуи стояли очень тесно; мальчикам пришлось протискиваться меж них. За этим склепом коридор разветвлялся. В левом проходе было светлее, так что они пошли туда, проникли за очередную незапертую решетку и оказались в сокровищнице, полной больших золотых и серебряных сосудов, епископских посохов, аналоев с орлиными крыльями, чаш для святой воды, реющих ангелов и ухмыляющихся херувимов. «Гальваннические копии», – шепнул образованный Джюлиан. Металл слабо, но отчетливо переливался в свете, проникавшем через небольшие круглые застекленные окошки в кирпичных стенах. Джюлиан прижал палец к губам и зашипел на Тома, чтобы тот не шумел. Том, чтобы сохранить равновесие, оперся о серебряный галеон. Галеон звякнул. Том чихнул.

– Тихо ты!

– Я не виноват. Это все пыль.

Они краудучись пошли дальше, повернули налево, потом направо, потом им пришлось пробиваться сквозь завалы каких-то штук, которые Том счел могильными оградками. Они были усажены бюстами улыбающихся женоподобных ангелов с крыльями и остроконечными грудями. Джюлиан сказал, что это чугунные решетки батарей отопления, заказанные у литейщика в Шеффилде.

– Стоили кучу денег, а потом оказались тут – кто-то решил, что они «слишком броские», – шепнул он. – Куда теперь?

Том сказал, что понятия не имеет. Джюлиан сказал, что они заблудились, их никто не найдет и крысы обгладают их косточки. Послышалось чихание.

– Я же сказал, тихо.

– Это не я. Должно быть, это он.

Тома беспокоило, что они выслеживают, вероятно, невинного и безвредного мальчика. В то же время он боялся наткнуться на дикого и опасного мальчишку.

– Мы знаем, что ты тут! – закричал Джюлиан. – Выходи, сдавайся!

Том видел, что Джулиан весь собран и улыбается, как победитель – загонщик или ловец в игре, где положено гнать и преследовать.

Воцарилась тишина. Потом кто-то снова чихнул. Посыпалась легкая возня. Джулиан и Том повернулись и посмотрели в другой проход, загроможденный лесом колонн из фальшивого мрамора – постаментов для бюстов и ваз. На уровне коленей, между фальшивым базальтом и фальшивым обсидианом, возникло дикое лицо, увенчанное копной волос.

– Ну-ка выходи и рассказывай, – веско приказал Джулиан. – Сюда нельзя посторонним. По-хорошему я бы должен полицию вызвать.

Мальчик вылез на четвереньках, встряхнулся, как зверь, и встал, мимоходом опершись о колонны. Он был примерно одного роста с Джулианом. Он дрожал – Том не знал, от гнева или от страха. Мальчик провел грязной рукой по лицу, потирая глаза, – даже в темноте видно было, что они покраснели. Он опустил голову и напрягся. Том понял, что у мальчика в голове пронеслась мысль:броситься на этих двоих, сбить их с ног и скрыться в глубине коридоров. Мальчик не двигался и ничего не отвечал.

– Что ты тут делаешь? – не отставал Джулиан.

– Я ныкался.

– Почему? От кого ты прятался?

– Просто ныкался. Я ничё не делал. Я очень осторожно хожу. Ничё не трогаю.

– Как тебя зовут? Где ты живешь?

– Меня звать Филип. Филип Уоррен. Живу я, стал быть, тут. Пока что.

Он говорил с явным северным акцентом. Том заметил акцент, но не смог бы сказать, откуда мальчик родом. Тот смотрел на них двоих почти так же, как они смотрели на него, – словно не мог взять в толк, что они и вправду настоящие. Он хлопнул глазами и вздрогнул всем телом. Том спросил:

– Ты рисовал подсвечник. Ты для этого пришел?

– Угу.

Мальчик прижал к груди холщовую сумку, в которой, видимо, хранились его рисовальные принадлежности. Том сказал:

– Это удивительная вещь, правда? Я его никогда раньше не видел.

Мальчик посмотрел ему в глаза и отозвался с едва заметной тенью улыбки:

– Угу. Удивительная, верно.

– Ты должен пойти и объясниться с моим отцом, – сурово сказал Джулиан.

– С твоим отцо-ом? А он кто такой?

– Он – особый хранитель драгоценных металлов.

– А. Понятно.

– Ты должен идти с нами.

– Да уж, видать, должен. Можно я вещи заберу?

– Вещи? – Джулиан впервые заколебался. – Ты хочешь сказать, что ты тут живешь?

– Я ж так и сказал сразу. Мне ж больш' некуда пойти. Неохота ночевать на улице. Я пришел сюда рисовать. Я знаю, Музей – для рабочего люда, чтоб глядеть на хорошо сделанные вещи. Я собирался искать работу, по правде, и мне ж нужны рисунки, чтоб показывать… Мне ж эти штуки по душе.

– А можно посмотреть твои рисунки? – спросил Том.

– Токо не тут, темно слишком. Наверху, коли хотите. Я токо заберу вещи, как сказал.

Он скрючился и полез обратно, ловко лавируя среди колонн. Тому представились гномы в копях, а затем, поскольку родители воспитывали в нем сочувствие к беднякам, – дети в шахтах, как они ползут на четвереньках и тянут за собой вагонетки. Джулиан не отставал, следя за Филипом по пятам. Том отправился за ними.

— Заходите, — сказал грязный мальчик у входа в небольшую комнату и сделал приглашающий жест рукой, возможно в насмешку.

В комнатке стояло некое подобие каменного домика, покрытое резным орнаментом — херувимами, серафимами, орлами и голубками, аканфом и виноградными лозами. У домика были собственные небольшие железные воротца — на ржавчине кое-где виднелись следы позолоты.

— Удобно, — сказал Филип. — Там унутри каменная кровать. Я взял взаймы пару мешков. Я, ясное дело, верну их на место, где нашел.

— Это гробница или склеп, — сказал Джулиан. — Судя по виду, из России. На этом столе, видно, лежал святой в стеклянной раке или реликварии. Может быть, он до сих пор там, то есть его кости, если он не оказался нетленным.

— Я его не видел, — кратко ответил Филип. — Он меня не трогал.

— Ты голодный? — спросил Том. — Что ты тут ешь?

— Раза два я помогал в кафе, собирая и мыл посуду. Люди кучу всего оставляют на тарелках, даже удивительно. А девушки из Школы искусств смотрят на мои рисунки и иногда дают мне сэндвичи. Я не клянчу. Однажды, один раз токо, я украл сэндвич, када совсем изголодался. С яйцом и кресс-салатом. Я знал, та девушка его есть не будет.

Он помолчал.

— Не сказать, чтоб этого хватало. Да, я голодный.

Он порылся за ракой и вылез оттуда еще с одной холщовой сумкой, альбомом для рисования, огарком свечи и каким-то свертком, перевязанным веревкой, — видимо, одежда.

— Как ты сюда попал? — не отставал Джулиан.

— Зашел за лошадьми и телегами. Ну знаешь, они въезжают вниз по скату в подвал. И разгружаются и нагружаются, и там всегда такая толкотня, ничё не стоит затесаться в толпу, меж конюхов и грузчиков, и пробраться вовнутрь.

— А дверь наверху? — спросил Джулиан. — Она должна быть все время заперта.

— Я нашел махонький ключик.

— *Нашел?*

— Угу. Нашел. Я его верну. Вот, возьмите.

Том сказал:

— Должно быть, по ночам тут очень страшно в одиночку.

— Не так страшно, как на улицах в Ист-Энде. И близко нет.

— А теперь идем, — вмешался Джулиан. — Ты должен все рассказать моему отцу. Он сейчас разговаривает с матерью Тома. Это — Том. Том Уэллвуд. А меня зовут Джулиан Кейн.

* * *

Майор инженерных войск Проспер Кейн, сотрудник Управления науки и искусства, владел елизаветинской усадьбой в Кенте под названием Айуэйд-хауз. Кроме этого, майор занимал небольшой жилой домик из тех, что выросли в Южном Кенсингтоне вокруг чудовищных «паровых котлов» из стекла и стали. (Утилитарное здание из чугуна, спроектированное военным инженером, было увенчано тремя непоправимо безобразными длинными округлыми крышами, за что и получило насмешливое прозвище «Бромптонских паровых котлов».) Эти жилые домики населяли в основном потомки саперов, строивших когда-то «Бромптонские котлы» после Всемирной выставки 1851 года. Майор Кейн занимал жилье, которое трудно было назвать официальной резиденцией, — подчиненные майора жили в таких же, разве что чуть поменьше. Уже давно выдвигались амбициозные проекты расширения музеиных площадей, а кое-кто роптал против засилья военных в музее. Был проведен конкурс. Точные видения дворцов, атриумов, башен, фонтанов и декора подверглись скрупулезному рассмотрению

и сравнению. Победителем был провозглашен проект Астона Уэбба, но работы не начались. Новый директор музея Джон Генри Миддлтон, назначенный на этот пост в 1894 году, был не военным, а замкнутым, аскетичным ученым, ранее работавшим в Кингз-колледже и музее Фитцуильяма в Кембридже. Миддлтон не ладил с генерал-майором сэром Джоном Доннелли, секретарем Управления науки и искусства. Хранители музея и ученые-исследователи подавали петиции о сносе жилых домиков по причине пожарной опасности и неисправных дымоходов. По подсчетам обнаружилось двадцать семь открытых очагов с дымовыми трубами. Студентки Школы искусств жаловались на то, что к ним в студии проникает сажа и дым. Военные в ответ указывали на тот факт, что пожарная команда Музея состоит из саперов, населяющих эти самые дома. Споры длились, и никто ничего не делал.

Узкий домик Проспера Кейна – комнаты первого этажа и гостиную на втором – украшали элегантные каминны. Камины были отделаны роскошной плиткой работы Уильяма де Моргана. Майор предложил Олив Уэллвуд позолоченный французский стул, покрытый затейливой резьбой в стиле, равно ненавистном как представителям Движения искусств и ремесел, так и хранителям Музея. У майора был эклектический вкус и слабость, если это можно назвать слабостью, к экстравагантному. Майору было приятно смотреть на гостью, одетую в гротесковое платье темного грифельного цвета, отделанное тесьмой, с высоким кружевным воротником и рукавами, которые над локтем клубились модными «фонариками». Шляпа была отделана черными перьями, а на полях теснились алые шелковые маки. У гостьи было приятное, уверенное лицо, энергичное, румяное, с твердой линией рта и широко расставленными огромными темными глазами, похожими на сердцевинки маков. Майор решил, что ей лет тридцать пять – возможно, чуть больше. Он заключил, что она не привыкла к тугим корсетам, лайковым ботинкам и перчаткам. Она двигалась чуть-чуть слишком свободно, чересчур импульсивно. У нее было хорошее тело, тонкие щиколотки. Дома она, видимо, ходила в платьях фасона «либерти» или в чем-то другом столь же удобном. Майор сидел напротив – собранный, с четкими чертами лица, как и у его сына. Волосы все еще такие же темные, как у Джюлиана, аккуратные усики – серебряные. Жена майора, итальянка, умерла в 1883 году во Флоренции – в городе, который они оба любили, где родилась их дочь и была крещена Флоренцией, прежде чем пришла болезнь и город стал местом трагедии.

Олив Уэллвуд была замужем за Хамфри Уэллвудом, служащим Английского банка и активным членом Фабианского общества. Олив написала множество сказок для детей и взрослых и ссыла специалистом по британским народным сказкам. Она пришла повидаться с Кейном, потому что задумала написать сказку о чудесном древнем сокровище. Проспер Кейн галантно выразил восторг по поводу того, что гостья подумала о нем. Она улыбнулась и сказала: скромный успех ее книг больше всего радует ее тем, что позволяет беспокоить таких важных и занятых людей, как майор. Она никогда и не ожидала подобного. Она сказала, что его комната похожа на пещеру из арабских сказок и что ей безумно хочется встать с места и полюбоваться всеми-всеми собранными им удивительными сокровищами.

– На самом деле, – сказал Проспер, – тут не так уж много арабского. Это не моя область. Я служил на Востоке, но меня больше интересует европейское искусство. Боюсь, вы не найдете научного порядка в моих личных вещах. Я не думаю, что при украшении комнаты нужно рабски следовать определенному стилю, особенно если эта комната, так сказать, стоит в ряду разнообразнейших зал музея, как крохотное яичко может оказаться в гнезде Фаберже. Можно прекрасно поставить изникский кувшин рядом с венецианским кубком и покрытой люстром вазой работы де Моргана – все три от такого соседства только выигрывают. На стенах у меня средневековые фламандские вышивки соседствуют с небольшим gobelenом, который мой друг Моррис соткал для меня в Мerton-Эбби, – птицы-обжоры и алые ягоды. Посмотрите, какая мощь в изгибах листьев. Моррис всегда полон энергии.

– А эти? – спросила миссис Уэллвуд.

Она порывисто встала и провела пальцем, затянутым в серую лайку, вдоль полки с разнородными предметами, которые никак не складывались в целое ни с эстетической, ни с исторической точки зрения.

— А это, дорогая, моя коллекция гениальных подделок. Эти ложки — не средневековые, хотя их пытались продать мне за таковые. Этот кубок-наутилус вовсе не работы Челлини, хотя Уильяма Бекфорда убедили в противном и он заплатил за него небольшое состояние. Эти безделушки — вовсе не драгоценности британской короны, а искусно сделанные стеклянные копии, которые выставлялись в Хрустальном дворце в пятьдесят первом году.

— А это?

Миссис Уэллвуд, едва касаясь, провела пальцем по керамическому блюду с изображениями, которые казались живыми, — небольшая жаба, свивающаяся кольцами змея, несколько жуков, мох, папоротники, черный рак.

— Я никогда не видела такого точного подобия. Каждая бородавочка, каждая морщинка.

— Как вам известно — а может быть, и неизвестно, — Музей попал в неприятную историю, приобретя чрезвычайно дорогое блюдо — не это — работы Бернара Палисси. Который увековечен мозаичным портретом в «Кенсингтонской Валгалле». Впоследствии, к нашему посрамлению, оказалось, что и то блюдо, и это тоже — честные современные фабричные копии. Они продаются как сувениры. Это факт, что при отсутствии неоспоримой метки художника невероятно трудно отличить фальшивого Палисси — или копию, следует сказать, — от подлинника семнадцатого века.

— И все же, — произнесла наблюдательная миссис Уэллвуд, — какая точность деталей! Кажется, что такая работа требует необыкновенных усилий.

— Говорят, и я этому верю, что керамические твари сделаны на основе настоящих жаб, угрей, жуков.

— Надеюсь, мертвых?

— Хотелось бы верить, что мумифицированных. Но мы точно не знаем. Может быть, в этом кроется сказка?

— Принца превратили в жабу и заточили в блюдо? О, как ему ненавистно было бы наблюдать за пирующими. В «Тысяча и одной ночи» есть история про принца, который окаменел до пояса. Эта сказка всегда меня тревожила. Мне нужно подумать.

Она улыбнулась довольной кошачьей улыбкой.

— Но вы хотели узнать про серебряные и золотые клады?

Хамфри Уэллвуд сказал ей: «Поезжай и спроси Старого пирата. Он точно знает. Он все знает про тайники и тайные сделки. Он прочесывает рынки и лавки древностей и за гроши, так мне рассказывали, скупает родовые сокровища, попавшие на лотки уличных торговцев после всех революций».

— Мне нужно что-то такое, что *всегда числилось пропавшим* — конечно, с соответствующей историей — и чтобы я могла приписать этой вещи магические свойства: какой-нибудь талисман, зеркало, которое показывает прошлое и будущее, что-то в этом роде. Как видите, мое воображение порождает только банальности. Мне нужны ваши точные познания.

— Как ни странно, — сказал Проспер Кейн, — очень древних золотых и серебряных сокровищ не так много, и тому есть веская причина. Представьте себе, что вы — ярл викингов, или вождь татарского племени, или даже император Священной Римской империи. Серебряные и золотые вещи составляют часть вашей казны, и им постоянно — с точки зрения художника и рассказчика — грозит опасность попасть в переплавку для мени, на жалованье солдатам или что можно было быстро увезти и спрятать. У церкви есть священные сосуды...

— Нет, я не хочу ни граалей, ни дароносци, ничего такого.

— Нет, вы ищете что-то обладающее неповторимой *маной*. Я понимаю, что вам нужно.

— Только не кольцо. Про кольца уже столько сказок!

Проспер Кейн засмеялся громким лающим смехом:

– Вы требовательны. А как насчет клада из Стоук-Прайор? Это серебряные сосуды, их закопали для сохранности во время гражданской войны, а нашел уже в наши дни какой-то мальчишка во время охоты на кроликов. А еще была романтическая история с эльтенбергским реликварием, который приобрел для Музея Джон Чарльз Робинсон в шестьдесят первом году. Реликварий происходит из коллекции князя Салтыкова, который купил его и еще тысячи четыре средневековых предметов у одного француза после революции сорок восьмого года. После вторжения Наполеона реликварий спрятала в печной трубе канониса Эльтенбергская, княгиня Сальм-Райфенштадтская. Из трубы реликварий каким-то образом попал к канонику в Эммерихе, который продал его в Аахене торговцу, некоему Якубу Коэну из Ангальта. Этот Яacob в один прекрасный день явился к князю Флорентину Сальм-Сальмскому и предложил ему одну фигурку из моржовой кости. Когда князь Флорентин ее купил, Коэн вернулся с другой фигуркой, потом еще и еще и наконец принес сам ларец-реликварий, закопченный и пропахший табаком. Затем сын князя Флорентина, князь Феликс, уговорил отца продать фигурки кёльнскому торговцу – и вот тут, как мы полагаем, некоторые были подменены искусствами современными подделками: путешествие волхвов, Дева и Младенец со святым Иосифом, некоторые из пророков. Очень умелые подделки. Они у нас есть. Это реальная история, и мы убеждены, что подлинники фигурок где-то до сих пор спрятаны. Разве из этого не выйдет замечательный сюжет? Поиски пропавших частей клада, восстановление его целостности? Ваши герои могли бы отправиться по следу ремесленника, изготавлившего подделки…

Олив Уэллвуд ощущала то, что часто чувствуют писатели, которым предлагаются для сюжета замечательные истории: тут слишком много фактов, слишком мало простора для вставки необходимого вымысла, который на этом фоне будет казаться ложью.

– Мне придется очень многое поменять.

На лице ученого специалиста по подделкам отразилось мимолетное недовольство.

– Это и так уже очень сильная история, – объяснила Олив. – Она не нуждается в моем воображении.

– Я бы сказал, что она всех нас заставляет напрячь воображение, чтобы восстановить судьбу пропавших произведений искусства…

– Меня заинтриговали ваши жабы и змеи.

– Для сказки о колдовстве? В качестве фамильяров?

* * *

Тут открылась дверь и Джулиан ввел Филипа Уоррена. Шествие замыкал Том, он же и закрыл дверь.

– Извини, отец. Мы решили, что тебя следует поставить в известность. Мы нашли вот его – он прятался в запасниках Музея. В гробнице. Я за ним давно следил, а сегодня мы его поймали. Он там внизу жил.

Все посмотрели на грязного мальчишку так (подумала Олив), словно он восстал из-под земли. От его башмаков остались следы на ковре.

– Что ты делал? – спросил Проспер Кейн.

Мальчик не ответил. Том подошел к матери, она взъерошила ему волосы. Он преподнес ей историю:

– Он рисует вещи, выставленные в витринах. А ночью спит совсем один в гробнице древнего святого, где раньше были кости. Среди горгулий и ангелов. В темноте.

– Это очень храбро, – сказала Олив, обращая взгляд темных глаз на Филипа. – Ты, наверное, боялся.

– Нисколечко, – бесстрастно ответил Филип.

Он не собирался говорить, что думал на самом деле. Если ты спал с пятью другими детьми бок о бок на одном матрасе, и, более того, на матрасе, где умерли еще двое братьев и сестра, не безболезненно и не мирно, и тела даже некуда было убрать, – горстка старых костей тебя не испугает. Всю жизнь Филипа не покидала жажда уединения – он бы даже не смог назвать это чувство, но оно никогда не ослабевало. Он понятия не имел, бывает ли такое у других людей. Похоже, что нет. В музейной гробнице, в темноте и прахе, это желание на краткий миг осуществилось. Филип был на взводе – опасный, готовый в любую минуту взорваться.

– Откуда ты, парень? – спросил Проспер Кейн. – Ну-ка, выкладывай все как есть. Почему ты здесь и как попал туда, где заперто?

– Я из Берслема. Там работал на гончарной фабрике. – Длинная пауза. – Я сбежал оттуда, вот чего, убежал.

Лицо его было непроницаемо.

– Твои родители работают там, на фабрике?

– Папка помер. Он капсулы делал. Мамка расписчица в мастерской. Мы все там работали, кто кем. Я загружал печи для обжига.

– Ты был несчастен, – сказала Олив.

Филип обдумал свои ощущения. Он сказал:

– Угу.

– С тобой плохо обращались.

– Им по-другому нельзя было. Дело не в том. Я хотел… Я хотел чего-нибудь делать…

– Ты хотел что-то изменить в своей жизни, чего-то добиться, – подсказала Олив. – Это естественно.

Может, это и было естественно, но Филип совсем не то имел в виду.

– Я хотел чего-нибудь сделать…

Его внутреннему взору предстала бесформенная масса разжижающейся глины. Он огляделся, как затравленный медведь, и увидел пылающую люстром чашу де Моргана на каминной полке. Он открыл рот, чтобы сказать что-нибудь про эту глазурь, но передумал.

– Может, ты нам покажешь свои рисунки? – спросил Том. Он обратился к матери: – Он показывал свои рисунки студенткам из Школы искусств, и они им понравились, они давали ему хлеб…

Филип развязал сумку и вытащил альбом с рисунками. Там был Глостерский канделябр с извивающимися драконами и горделивыми круглоглазыми человечками. Наброски за набросками – извивающиеся, кусающие, разящие существа в тончайших деталях.

Том сказал:

– Вот этот человечек мне понравился, стярчик с редкими волосами и печальным взглядом.

Проспер Кейн переворачивал страницы. Каменные ангелы, корейские золотые украшения для короны, блюдо Палисси во всей своей грубоости – один из двух неоспоримо подлинных экземпляров.

– А это что? – спросил он, листая дальше.

– Это я уже сам придумал.

– Для чего?

– Ну, я думал, соляная глазурь. А мож, обливная керамика, вот на этой странице. Я рисовал металл, чтоб его почувствовать. Я металла совсем не знаю. Я знаю глину. Кое-что знаю про нее.

– У тебя хороший глаз, – сказал Проспер Кейн. – Очень хороший глаз. Ты использовал коллекцию Музея по назначению – чтобы изучать лучшие образцы ремесла.

Том перевел дух. Все-таки у этой сказки будет хороший конец.

– Ты бы хотел учиться в Школе искусств?

– Не знаю. Я хочу чего-нибудь делать...

Тут у него совсем кончились силы, и он пошатнулся. Проспер Кейн, не поднимая глаз от рисунков, сказал:

– Ты, должно быть, голоден. Джулиан, вызови Рози, вели ей принести свежего чаю.

– Я всегда голодный, – сказал вдруг Филип неожиданно громко, вдвое громче прежнего.

Он не собирался никого смешить, но, поскольку его действительно хотели накормить, все остальные восприняли это как шутку и весело засмеялись.

– Садись, мальчик. Ты не на допросе.

Филип нерешительно глянул на шелковые подушки с павлинами и языками пламени.

– Они отчистятся. Ты совсем без сил. Садись.

* * *

Рози, горничная, несколько раз поднималась по узкой лестнице, таская подносы с фарфоровыми чашками и блюдцами, солидный кусок фруктового кекса на подставке, блюдо с сэндвичами, хитроумно рассчитанными так, чтобы угодить дамскому вкусу и при этом накормить растущих мальчиков (в одних сэндвичах – ломтики огурцов, в других – треугольники холодного тушеного мяса). Потом Рози принесла блюдо пирожных-корзиночек, заварочный чайник, чайник с кипятком, кувшинчик со сливками. Рози была маленькая, поджарая, в накрахмаленном чепце и фартуке, примерно ровесница Филипа и Джулиана. Она расставила припасы по первым попавшимся столикам, водрузила чайник на огонь, нырнула в реверанс перед майором Кейном и снова побежала вниз. Проспер Кейн попросил миссис Уэллвуд разливать чай. Филип позабавил майора тем, что поднял чашку на уровень глаз, разглядывая резвящихся пастушек на цветущем лугу.

– Минтонский фарфор, стилизация под севрский, – сказал Проспер. – Для Уильяма Морриса – страшное кощунство, но у меня слабость к орнаментам...

Филип поставил чашку на стол рядом с собой и ничего не ответил. Рот у него был набит сэндвичем. Филип пытался есть деликатно, но был страшно голоден и потому набрасывался на еду. Он пытался жевать медленно. Он глотал огромные куски. Все благосклонно наблюдали за ним. Он жевал и краснел под слоем грязи. Он был готов расплакаться. Его окружили чужаки. Его мать раскрашивала каемки таких же чашек тонкими кисточками день за днем и гордилась неизменной безупречностью своей работы. Олив Уэллвуд, пахнущая розами, стояла над Филипом, накладывая ему ломти кекса. Он съел два, хоть и подумал, что это, наверное, неприлично. Но сладкое и мучное сделали свое дело. Неестественная напряженность, настороженность сменились чистой усталостью.

– А что теперь? – спросил Проспер Кейн. – Что нам делать с этим юношем? Где он будет спать сегодня ночью и куда пойдет после этого?

Тому вспомнилась сцена прибытия Дэвида Копперфильда в дом Бетси Тротвуд. Вот мальчик. Он жил в грязи и опасности, а теперь попал в настоящий дом. Том собирался воскликнуть словами мистера Дика: «Я вымыл бы его!» – но удержался. Это было бы оскорбительно.

Олив Уэллвуд обратила вопрос к Филипу:

– Что ты хочешь делать?

– Работать, – ответил Филип.

Этот ответ был проще всего и в общих чертах близок к истине.

– А вернуться обратно – не хочешь?

– Нет.

– Я думаю, – если майор Кейн согласится, – ты можешь поехать домой с нами, со мной и с Томом, на выходные. Я полагаю, майор не собирается заявлять на тебя в полицию. В эти

выходные – день летнего солнцестояния, и мы устраиваем праздник у себя дома, за городом. У нас большая семья, очень гостеприимная, один лишний человек нас не стеснит.

Она посмотрела на Проспера Кейна:

– Я надеюсь, что и вы приедете в Андреден из Айуэйда ради магии Летней ночи. Возьмите с собой Джулиана и Флоренцию, они пообщаются с молодежью.

Проспер Кейн склонился над ее рукой, мысленно отменил назначеннную карточную игру и сказал, что он, что все они будут счастливы приехать. Том посмотрел на пленника – радуется ли тот? Но тот смотрел себе на ноги. Том не знал, рад ли он сам, что Джулиан приедет к ним на праздник. Том побаивался Джулиана. Вот Филип – это хорошо, если он снизойдет до того, чтобы получать удовольствие от праздника. Том подумал, не присоединиться ли к уговорам матери, но застеснялся и промолчал.

2

Они доехали на поезде до станции Андреден в Кентском Уилде, а на станции сели в про-летку. Филип сидел напротив Тома с матерью, склонившихся друг к другу. У Филипа сами собой закрывались глаза, но Олив ему все время что-то рассказывала, и он знал, что нужно слушать. Андред – старое британское название леса. Слово «андреден» означает лесное пастбище для свиней. Усадьба Уэллвудов называется «Жабья просека». По правде сказать, они изменили это название – раньше она называлась «Квакшин прогал», но эта замена оправдана с этимологической точки зрения. Слово «прогал» в местном говоре означает расчищенное место в лесу, просеку. А квакша, надо полагать – это жаба.

– Так что, там водятся жабы? – невозмутимо спросил Филип.

– О, кучи, – ответил Том. – Большие, жирные. Они мечут икру в утином пруду. И лягушки тоже есть, и тритоны, и колюшка.

Они ехали между живыми изгородями из боярышника и лещины, по извилистым проселочным дорогам, через лес под нависающими ветвями вязов, берез, тиса. Филип почувствовал, как изменился воздух, когда поезд вырвался из-под траурной завесы лондонского неба. Можно было увидеть, где она кончается. Впрочем, густой темный воздух Берслема, полный горячей колючей пыли и расплавленных химикалий, извергаемых высокими трубами и сужающимися кверху печами для обжига, был гораздо хуже. Филип дышал с опаской – ему казалось, что его легкие слишком сильно расширяются. Олив и Том отнюдь не принимали свежий воздух как должное. Они, словно повинуясь ритуалу, восклицали, как хорошо наконец выбраться из городской грязи. Филипу казалось, что грязь въелась в него навсегда.

Усадьба «Жабья просека» представляла собой старый дом кентского фермера, построенный из дерева и камня. Перед домом расстилались луга и текла река, за домом по склону холма поднимался лес. Архитектор Летаби со вкусом расширил дом и перестроил его в стиле Движения искусств и ремесел, старательно сохраняя (а также создавая) окошки и стрехи причудливой формы, изогнутые лестницы, уголки, закоулки и оголенные балки потолка. Парадная дверь из цельного дуба открывалась в современное подобие главного зала средневекового замка – с деревянными диванами-ларями, альковами, большим обеденным столом ручной работы и длинным буфетом, в котором сверкала люстрем посуда. Дальше шла отделанная деревянными панелями библиотека (небольшая), по совместительству служившая Олив рабочим кабинетом, и бильярдная, где воцарялся Хамфри, когда бывал дома. В усадьбе было множество подсобных помещений: кухни, буфетные, домики для гостей, конюшни с сеновалами, где рылись куры и вили гнезда ласточки. Широкая лестница с поворотами вела из зала на верхние этажи.

Встречать Олив и Тома сбежалась куча народу – детей и взрослых. Филип принял их разглядывать. Невысокая темноволосая женщина, в просторном платье цвета шелковицы с рисунком из ослепительно-ярких настурций, держала младенца, примерно годовалого, которого и вручила Олив для объятий и поцелуев, не успела та даже пальто снять. Две служанки – матрона и юная девушка – стояли рядом, готовые принять на руки хозяйские пальто. Две юные леди в одинаковых темно-синих фартуках, с длинными, спадающими на плечи волосами, у одной темными, у другой рыжеватыми, – моложе Филипа, моложе и Тома, но ненамного. Маленькая девочка в фартуке, ярком, как грудка снегиря, пролезла у всех под ногами и вцепилась в юбки Олив. Маленький мальчик со светлыми кудряшками, в кружевном воротничке фасона «lord Fauntleroy», не отходил от дамы в платье цвета шелковицы, пряча лицо в ее юбку. Олив зарылась носом в шейку младенца Робина, который тянулся к макам на ее шляпке.

– Я как дерево, на котором гнездятся птицы. Это Филип, он у нас погостит немного. Филип, эти две большие девочки – Дороти и Филлис. Это моя сестра Виолетта Гримуит, на ней держится весь дом – все, что в этом доме хоть как-то держится. Этот чертенок – моя умница

Гедда, она не умеет стоять смирно. Стеснительный – Флориан, ему три года. Флориан, выгляни, поздоровайся с Филипом.

Флориан, не отпуская Виолетту Гrimuit, отчетливо сказал прямо в ее юбки, что от Филипа плохо пахнет. Виолетта подняла малыша на руки, потрясла и поцеловала. Он лягался, пиная ее по бедрам. Олив сказала:

– Филип ушел из дома и много скитался. Ему нужна ванна и чистая одежда, и постелите ему в Березовом коттедже. Кейти, приготовь там все, что нужно. Ада, наполни ему ванну, пожалуйста. Филип, иди с Адой, начнем с главного, а когда ты освежишься, мы разберемся с ужином и будем строить дальнейшие планы.

Виолетта Гrimuit сказала, что поищет Филипу какую-нибудь подходящую одежду. Похоже, он слишком большой, и вещи Тома ему будут малы. Но в ящике с воскресной одеждой Хамфри, наверное, найдется подходящая рубашка, а может быть, даже и штаны…

* * *

Филип безропотно пошел за Адой, кухаркой, через ту часть дома, где жили слуги, в заднюю дверь, через конный двор и наискосок в домик для гостей, состоявший из комнаты внизу, с краном, насосом для воды и раковиной, и чердака наверху, куда можно было попасть по лестнице, – слышно было, как там возится Кейти, перетряхивая постель. Филип стоял столбом. Ада притащила жестянную ванну, два кувшина горячей воды, кувшин холодной, мыло и полотенце. Затем она ушла. Филип снял верхнюю одежду, робко налил в ванну немного холодной воды и добавил горячей. Затем он снял последнюю защиту – подштанники и нательную фуфайку. Ванна была для него в диковинку. Он привык быстренько ополаскиваться холодной водой у общественной колонки. Он занес ногу, чтобы встать в ванну. Без стука вошла Виолетта Гrimuit. Филип схватил полотенце, чтобы прикрыться, и плюхнулся в воду, ободрав щиколотку о край ванны. Он сдавленно крикнул – почти взывал.

– Нечего меня стесняться, – сказала мисс Гrimuit. – Дай-ка посмотрю на твою ссадину. Ничего нового я у тебя не увижу. Я всех их нянчила, лечила их ранки с самого рождения, это ко мне они бегут, когда им что-то нужно, и я надеюсь, что и ты, молодой человек, будешь делать то же самое.

Она приступила к перепуганному Филипу с мылом и кружкой теплой воды, которую без предупреждения вылила на его шевелюру, так что струи потекли в глаза и по плечам.

– Закрой глаза, – велела она. – И не открывай, я до корней доберусь, уж я доберусь.

С этими словами она принялась за работу, добавляя мыла и воды, меся и крутя волосы, потом стала массировать кожу головы, трогая тонкими пальцами напряженные мускулы плеч и шеи.

– Не сжимайся, – сказала эта удивительная женщина. – Сейчас мы тебя отмоем на славу, каждая щелочка заиграет, вот увидишь.

Она с ним говорила так, словно он несмышленый младенец – или взрослый мужчина, сознающий, что с ним делают, и согласный на это. Филип решил, что будет держать глаза закрытыми – во всех смыслах. Он скрючился как мог, закрывая чувствительные места, прижал подбородок к груди и отдался рукам, что безжалостно терли и трепали его. Руки нырнули под воду и на краткий миг нашли ту часть тела, которую Филип мысленно называл «свистком».

– Грязь веков, – сказал пронзительный голос. – Удивительно, как она, грязь, накапливается. Вот теперь ты хорошенъкий розовенький поросеночек, а не серый слон с загрубелой шкурой. У тебя густые красивые волосы теперь, когда я из них вымыла пыль и все прочее. Можешь открыть глаза. Я стерла мыло, щипать не будет.

Глаза открывать не хотелось.

Виолетта приказала ему вытираться, а сама стала прикладывать к нему разные одежды для примерки. Он, еще мокрый, неловко влез в какие-то заплатанные кальсоны и выбрал из трех предложенных рубашек однотонную темно-синюю саржевую. Штаны Тома оказались малы.

– Я так и знала, – сказала Виолетта.

Другие штаны, видимо принадлежавшие хозяину дома, были великоваты, но Виолетта сказала, что с ремнем они будут хорошо держаться. Она извлекла откуда-то целую гору игл и катушек с нитками, велела Филипу стоять неподвижно и ушила брюки с двух сторон на бедрах. Она шила быстро и точно.

– Я знаю молодых людей, они всегда стесняются, если что-то с виду не так, и терпеть не могут, когда одежда плохо сидит. Я тут зашила на скорую руку, но пока подержится. Так тебе не придется беспокоиться, что они велики. Одной заботой меньше.

Она положила руки ему на бедра и повернула его, как манекен. Она дала ему пару крепких новых носков, но из принесенной ею обуви ни одна пара не подошла, и ему пришлось надеть свои старые ботинки, после того как Виолетта их почистила. Твидовая куртка с кожаной отделкой завершила его туалет. Филип получил даже чистый носовой платок. И карманную расческу из белой кости: Виолетта сначала долго дергала этой расческой волосы Филипа, а потом положила ее в карман его куртки. Зеркала в Березовом коттедже не было, так что Филип не мог полюбоваться на плоды ее трудов. Он поеживался: в этом нижнем белье ему было неудобно. Виолетта провела пальцами по поясу брюк изнутри и расправила Филипу плечи. Она скатала его старую одежду в сверток:

– Я не украду твои тряпки, юноша, они к тебе вернутся стираными и штопанными.

– Благодарю вас, мэм, – ответил Филип.

– Если тебе что-нибудь понадобится, что угодно, иди ко мне. Смотри не забудь. Ночная рубашка у тебя на кровати, горшок под кроватью, зубная щетка лежит у раковины. Когда пойдешь обратно, я дам тебе спички и свечу. Ты будешь сладко спать, в Кенте воздух хороший.

* * *

В обеденной зале уже накрыли ужин. На столе стояли хорошеные обливные тарелки и кружки, покрытые желтой глазурью, с каймой из «черноглазых сюзанн». Робина и Флориана уже уложили в постель, но пятилетняя Гедда была за столом вместе со всеми, так как семья ужинала рано. Олив пригласила Филипа сесть рядом с ней и сказала, что он красавец. Хамфри Уэллвуд кивнул Филипу с другого конца стола. Хамфри оказался высоким худым мужчиной с рыжей, лисьего цвета, аккуратно подстриженной бородой, с бледно-голубыми глазами. Он был одет в темно-коричневую бархатную куртку.

На ужин подали суп из цветной капусты, затем рагу из баранины и пирог с тыквой и овощами для тех, кто не ел мяса (для Олив, Виолетты, Филлис и Гедды). Филип съел две тарелки супа. Он думал, что мистер Уэллвуд, раз он работает в Английском банке, будет как владельцы гончарной фабрики – такой же чопорный, напыщенный, высокомерный. Но Хамфри принял рассказывать детям, судя по всему, очередную серию историй про тайные шалости банковских служащих: они держали в банке бультерьеров, привязывая их к ножкам своих столов, и делили между собой мясные полутуши со Смитфилдского рынка, прежде чем отправиться домой на выходные. Филлис и Гедда картинно поежились. Хамфри поведал им, как один юнец подшутил над другим: привязал его шнурки к ножкам высокого табурета, на котором тот сидел за конторкой. Дороти сказала, что это совсем не смешно, и Хамфри немедленно согласился, сказав с полуслуховской печалью, что бедные молодые люди заточены в полумраке и их животная энергия не может найти выхода. Они словно ниделунги, сказал Хамфри: отправляются в подвалльные хранилища, чтобы поглазеть на машины, взвешивающие золотые соверены, – почти очело-

веченные создания, которые глотают полновесные золотые монеты и выплевывают фальшивые в медные сосуды. Том сказал, что они сегодня видели совершенно удивительный подсвечник, а майор Кейн говорит, что, может быть, его сделали из переплавленных золотых монет. С драконами, и человечками, и обезьянами. Филип совершенно замечательно нарисовал этот подсвечник. Все посмотрели на Филипа, который упорно пялился себе в тарелку. Хамфри сказал, что хотел бы посмотреть эти рисунки, – таким тоном, словно на самом деле хотел. «Не смущай бедного мальчика», – сказала Виолетта, отчего бедный мальчик немедленно засмущался.

На протяжении всего ужина Олив время от времени грациозно, порывисто поворачивалась к Филипу и просила его рассказать о себе. Она мало-помалу вытянула из него, что его папка погиб от несчастного случая с печью для обжига, а мамка расписывает фарфор. Сам Филип тоже работал – подносил загруженные капсели к печам. Да, у него есть сестры, четыре штуки. Филлис спросила о братьях. Двое, ответил Филип, оба умерли. И еще одна сестра тоже умерла.

– И тебе хотелось оттуда уйти? – спросила Олив. – Должно быть, ты был несчастен. Работа была тяжелая, и, наверное, с тобой плохо обращались...

Филипу вспомнилась мать, и, к своему ужасу, он почувствовал, что глазам стало горячо и мокро.

Олив сказала, что не надо ничего говорить, они все понимают. Все уставились на него с любовью и сочувствием.

– Не то чтобы... – сказал он. – Не то чтобы...

Голос дрожал.

– Мы найдем тебе и жилье, и работу, – сказала Олив. В голосе ее звенело золото.

Дороти неожиданно спросила, умеет ли Филип ездить на велосипеде.

Он сказал, что нет, но он видел велосипеды, думает, что на них кататься здорово, и хочет попробовать.

– Мы тебя завтра научим, – сказала Дороти. – У нас новые велосипеды. Мы успеем тебя научить до начала праздника, времени хватит. У нас можно кататься в лесу.

Ее лицо нельзя было назвать хорошеньким. Оно было почти постоянно сердитым, если не свирепым. Филип не стал раздумывать почему. Его одолевала усталость. Олив задала еще пару вопросов о жестоком обращении, которое, как она была уверена, ему пришлось пережить. Он отвечал однозначно, полными ложками отправляя в рот бланманже. На этот раз его спасла Виолетта, которая сказала, что мальчик умирает от усталости, вызвалась найти ему свечу и проводить в постель.

* * *

– Моя сестра такая, не бери в голову, – сказала Виолетта. – Она рассказчица. Она для каждого сочиняет историю. Не врет, а сочиняет. Такая уж у нее манера. Встраивает в окружающий мир.

Филип сказал:

– Она... она очень добра ко мне. Вы все очень добрые.

– У всякого свои взгляды, – сказала Виолетта. – На то, как должен быть устроен мир. А некоторые прошли... вот как ты... через то, чего в мире не должно быть.

Луна запуталась в ветвях дерева, обнимающего коттедж. Филип принялся изучать узор, в который сплетались прутья, – размеренный и хаотичный одновременно, – и это утешило. Он не стал говорить об этом Виолетте, но поблагодарил ее еще раз, взял свечу и вошел в домик. Филип боялся, что Виолетта зайдет поцеловать его на ночь – с этих людей становится, – но она лишь посмотрела снизу, как он со свечой поднимается по лестнице.

– Спокойной ночи, – окликнула она.

– Спасибо, – еще раз повторил он.

* * *

И вот он остался один в домике, с храброй свечой, бросающей вызов тьме. Исполнились его желания, по крайней мере одно. На временно принадлежащей ему деревянной кровати, застланной чистым бельем, лежала ночная рубашка. Филип выглянул из окна и увидел все те же ветви, залитые лунным светом на фоне темно-синего безоблачного неба. Листья в форме рыбок, перекрывающие друг друга, едва трепетали. Филип перевел этот узор на горшечную глазурь и ненадолго задумался над ним. Всего было слишком много. Филипу хотелось закричать, или зарыдать, или (он только что понял) потрогать свое тело – чисто отмытое, – как раньше он мог делать только украдкой, в грязных местах. Но нельзя оставлять следов, это будет позор. В конце концов Филип соорудил подобие защиты из носового платка, подаренного или одолженного. Потом можно будет выполоскать его под краном.

Он откинулся на подушку, взял себя рукой и нашел сладостный ритм, приводящий к мокрому, возносящему ввысь экстазу.

И замер, прислушиваясь к звукам в тишине. Крикнула сова. Ей ответила другая. Скрипнул сук. Что-то шелестело. Из крана внизу капала вода в каменную раковину. Разве можно спать в такой оглушительной тишине, разве можно пренебречь хоть секундой осознания блаженного одиночества? Он раскинул в стороны руки и ноги и почти мгновенно уснул. Он просыпался и засыпал, просыпался и засыпал, раз за разом, до самого рассвета, каждый раз заново вступая во владение тьмой и тишиной.

* * *

На следующий день они стали готовиться к празднику. На завтрак Виолетта дала Филипу яичницу, тосты и чай и сообщила, что его отрядили делать фонарики. Весь сад будет увешан фонариками. Филипу следует явиться в классную комнату, где их будут делать.

Поднимаясь по внушительной лестнице, Филип обнаружил кое-что интересное. В нише лестничной площадки на резном табурете стоял кувшин. Он был большой, из обливной керамики, внизу круглился толстым животом, а кверху сужался в высокое горло и снова расширялся, заканчиваясь тонким краем. Глазурь была серебряно-золотая с аквамариновым вуллизированием. Свет плыл по бокам кувшина, словно облака отражались в воде. Кувшин был водный, водяной. В нем был вертикальный ритм вздымающихся стеблей, водорослей, и прерывистый горизонтальный ритм неравномерно разбросанных облаков из черно-бурых извиливающихся запятых, которые при ближайшем рассмотрении оказались очень реалистично изображенными головастиками с полупрозрачными хвостами. У кувшина было несколько асимметричных ручек, которые, казалось, росли из него, как растут корни в воде, но потом оказывалось, что у этих корней хитрые морды и быстро мелькающие хвосты водяных змей, зеленые в золотую крапинку. Кувшин опирался на четыре темно-зеленые ноги – четырех свившихся кольцами чешуйчатых ящериц. Или крохотных драконов. Они лежали с закрытыми глазами, положив морды на плоскость.

Именно это и искал Филип. Пальцы задвигались внутри кувшина, повторяя его контуры, словно тот вращался на воображаемом гончарном круге. Филип воспринимал форму кувшина через формы собственного тела. Он замер, созерцая кувшин.

Сзади подошла Олив Уэллвуд и положила руку на плечо Филипа. От нее пахло розами. Филип удержался от того, чтобы дернуть плечом. Он не любил, чтобы его трогали. Особенно в интимные моменты.

— Этот кувшин просто удивительный, правда? Мы его выбрали из-за хорошеных головастиков — они подходят к названию усадьбы, «Жабья просека». Малыши обожают их гладить.

Филип утратил дар речи.

— Его сделал Бенедикт Флэдд. У него мастерская в Дандренессе. Мы его пригласили на праздник, но он, наверное, не придет. Его жена придет. Ее зовут Серафита, хотя от рождения она Сара-Джейн. Ее сына зовут Герант, а девочку — Имогена, она примерно твоего возраста, и Помона. Помона — ровесница Тома, и ей повезло, она такая же хорошеная, как ее имя. Правда, это очень опасно — давать детям романтические имена, малыши ведь могут вырасти и стать некрасивыми. Помона не очень похожа на яблоко, вот увидишь, скорее на бледный нарцисс.

Филипа интересовал только горшечник. Мальчик кое-как выговорил, что кувшин просто невероятный.

— Мне рассказывали, что у него бывают религиозные припадки. Тогда домашним приходится прятать горшки, чтобы он их не разбил. И антирелигиозные припадки у него тоже бывают.

Филип издал приглушенный, ничего не значащий звук. Олив взъерошила ему волосы. Он не отстранился. Она отвела его в классную комнату.

Для Филипа слова «классная комната» означали полутемный придел часовни, где над длинными скамьями висит тяжелая атмосфера немытых тел, мучительных попыток думать и щекочущего страха перед розгой. Здесь, в этой комнате, полной света, с алым чинцем на окнах, каждый работал отдельно, в своем отдельном пространстве. Девочки в ярких фартуках походили на разноцветных бабочек: Дороти в кубово-синем, Филлис — в темно-розовом, Гедда — в алом. На Флориане был халат цвета болотных калужниц. На длинном, чисто выскоблленном столе громоздились цветная бумага, склянки клея, кисти, коробки красок, банки с водой. Корзины для бумаг были переполнены скомканными забракованными творениями. Над столом царила Виолетта — там помогала вырезать ножницами по нужному контуру, здесь держала узел, пока его затягивают.

Том подвинулся, освобождая место для Филипа.

— Нет, — воскликнула Филлис. — Садись со мной!

У Филлис были волосы цвета сливочного масла, гладкие и блестящие. Филип сел рядом с ней. Она погладила его по руке, как гладят совсем маленького ребенка. Или собаку, несправедливо подумал Филип. Он вспомнил свою сестру Элси — у той никогда не было своего места ни в одной комнате на свете, и ей постоянно приходилось травить гнид, которые то и дело заводились в светлых волосах.

Дети показали ему свои фонарики. У Тома на огненном фоне сидели нахоленные вороны. У Филлис — простые цветы, маргаритки и колокольчики, на травянисто-зеленом. Дороти сделала узор из костяных рук, как у скелетов (это не человеческие руки, подумал Филип, — может, кроличьи лапки), на фиолетовом. Гедда медленно вырезала силуэт ведьмы на метле. Филлис сказала:

— Мы ей говорили, что ведьмы — это для Хеллоуина, а не для Летней ночи. Но хеллоуинские ведьмы у нее хорошо получаются, она навострилась вырезать шляпу и лохмы...

— Ведьмы же и летом никуда не деваются, — сказала Гедда. — Я люблю ведьм.

— Филип, бери бумагу и ножницы, — сказала Виолетта, — и клейстер, и краску. Нам всем охота посмотреть, что ты сделаешь.

Дорвавшись до материалов, Филип сразу почувствовал себя лучше. Он взял большой лист бумаги и покрыл его узором из головастиков, подсмотренным на большом кувшине, который ему нужно было запомнить. Потом пустил по другому листу извилистую, большую, хитрую змею, травянисто-зеленую и золотую, на синем фоне. Виолетта забрала оба листа, чтобы сделать из них фонарики. Тут у Филипа возникла еще одна идея. Он нарисовал тускло-красный

горизонт, над которым высоко вздымались серые призрачные фигуры. Приплюснутые цилиндрические, и высокие, сужающиеся кверху, в форме ульев и в форме касок. С верхушек фигур срывались фестоны пламени и свинцовые языки дыма – небо Берслема, превращенное в элегантный фонарь для праздника.

– Что это, что это? – громко спросила Гедда.

– Это место, где я жил. Трубы и печи для обжига, и огонь из печей, и дым.

– Очень красиво, – сказала Гедда.

– На фонарике – да, – ответил Филип. – В каком-то смысле оно и в жизни красиво. Но и ужасно. Там нельзя дышать по-человечески.

Дороти забрала фонарики и положила их вместе с другими, уже законченными. Филлис попросила:

– Расскажи нам про это место. Расскажи про своих сестер. Как их зовут?

Она примостилась поближе к нему, так что он чувствовал тепло и тяжесть ее тела: она почти что облокотилась на него, почти обняла.

– Их звать Элси, Нелли, Амелия и Хоуп, – неохотно ответил Филип.

– А покойники? Наши – Питер, он умер как раз перед тем, как Том родился, так что ему пятнадцать лет, и Рози, она была такая милая мальчишка.

– Хватит, Филлис, – сказал Том. – Его это совершенно не интересует.

Филлис не уступала и придвигнулась к Филипу еще ближе:

– А твои покойники? Как их зовут?

– Нед, – кратко сказал Филип. – И Роберт Оуэн. И Рози. Ну, Мэри-Роз.

Он изо всех сил старался не вспоминать их лиц и тел.

– После обеда мы возьмем Филипа с собой и будем учить его кататься на безопасном велосипеде, – сказала Дороти. – У нас у каждого свой велосипед, – сообщила она Филипу. – У них есть имена, как у пони. Мой называется Старый ворчун, потому что он все время скрипит. У Тома – просто Конь.

– А мой – На-Цыпочках, – сказала Филлис. – Потому что я едва достаю ногами до педалей.

– Это совершенно замечательное ощущение, – сказала Дороти. – Особенно когда едешь вниз, под горку. Возьми еще бумаги, сделай еще один фонарик, нам нужно развесить их на деревьях и кустах по всему саду.

«В Южном Кенсингтоне я выпрашивал обрывки бумаги, – подумал Филип. – А здесь выкидывают целые листы, если в одном углу птица не очень хорошо вышла».

Он поднял взгляд, и у него появилось неприятное ощущение, что Дороти читает его мысли.

* * *

Дороти в самом деле приблизительно отгадала его мысли. Она не знала, как ей это удалось. Она была умная, внимательная девочка, и ей нравилось думать, что она несчастна. Но она воспитывалась в фабианской атмосфере рациональной социальной справедливости и потому, столкнувшись с Филипом, его голодом, его умолчаниями, была вынуждена признать, что «не имеет права» быть несчастной, ведь она занимает чрезвычайно привилегированное положение по сравнению с другими людьми. Она сказала себе, что считает себя несчастной по совершенно несерьезным причинам. Потому что ее, как старшую из девочек, используют в качестве бесплатной помощницы няньки. Потому что она не мальчик, и к ней не приглашают учителя математики и языков, как к Тому. Потому что Филлис, хорошенькую и балованную, любят больше, чем ее. Потому что Тома любят *намного* больше. Потому что она чего-то хочет и сама не знает чего.

Ей только что исполнилось одиннадцать лет – она родилась в 1884 году, «ровесница Фабианского общества», как заметила Виолетта. В те дни они называли себя Братством новой жизни, а Дороти и была новой жизнью, впитывала в себя социалистические идеи с молоком матери. Взрослые часто шутили про нее, даже более пикантно и рискованно, и это ее раздражало. Она не любила, когда о ней говорили. В равной степени она не любила, когда о ней не говорили, когда взрослые болтали на свои возвышенные темы, как будто ее тут и не было. В общем, на нее невозможно было угодить. Даже в одиннадцать лет ей хватало ума понять, что на нее невозможно угодить. Она много думала о чувствах других людей и анализировала их, и только недавно начала понимать, что другие люди, как правило, этого не делают и не отвечают ей тем же.

Сейчас она была занята мыслями о Филипе. «Он думает, что мы к нему добры из снисходительности, но это на самом деле не так, мы просто дружелюбны, мы всегда такие, но ему это кажется подозрительным. Он не хочет, чтобы мы знали по правде, откуда он взялся. Мама думает, что он был несчастен дома и у него злые родители, это один из ее любимых сюжетов. Она должна была бы понимать, как я понимаю, что ему это не нравится. Я думаю, он чувствует себя виноватым, потому что его родные не знают, где он и что с ним. И теперь, когда мы подняли вокруг него такую суматоху, чувство вины у него стало сильней, чем раньше, когда он прятался в подвалах Музея».

«Интересно, чего ему хочется?» – спросила она себя и не нашла ответа, потому что Филип об этом молчал, как и почти обо всем остальном.

* * *

Урок езды на безопасном велосипеде состоялся во второй половине дня, как и было обещано. Филипу одолжили велосипед Виолетты Гримуит, солидную машину синего цвета. Виолетта прозвала свой велосипед Колокольчиком. В лесу на склоне холма было полно колокольчиков. Но Том и Дороти считали, что это название какое-то слюнявое.

Том на своем Коне ездил кругами по травянистой поляне между задней дверью дома и лесом, показывая, как надо держать равновесие. Дороти придержала седло, помогая Филипу забраться на велосипед, а Филип изо всех сил пытался не упасть.

– Это гораздо проще, когда едешь, – сказала она. – На стоящем велосипеде никто не удержится.

Филип поехал и упал, и снова поехал, и снова упал, и опять поехал, и, крутя педали, доехал до середины поляны, опять упал и опять поехал и объехал, хоть и слегка виляя, вокруг всей поляны. Впервые со своего приезда в «Жабью просеку» он громко засмеялся. Том выпидалось Филлис и сделала несколько аккуратных кругов. Том сказал, что Филип уже достаточно научился, можно ехать по дороге, и они поехали, Том впереди, потом Филип, потом Дороти, за ней Филлис. Они поехали по Френчес-лейн, ровной, зажатой меж двух изгородей из боярышника, а потом свернули вверх по лесистому склону, по Скарп-лейн, под нависающими ветвями деревьев, под которыми лежали колодцы густой тени, перемежаясь ослепительными пятнами солнца. Филипу пришла в голову идея темного-темного горшка, вроде ведьминого котла, с блестящими потеками на матовой поверхности. Стоило ему подумать о воображаемом горшке, а не о металлической конструкции, на которой он сидел, он стал лучше держать равновесие и прибавил скорости.

Дороти, ехавшая за ним, тоже прибавила ходу. У нее было пристрастие к скорости, которое сильнее всего в девочках одиннадцати-двенадцати лет. Во снах она неслась на скаковой лошади по берегу моря, меж песком и водой. С тех пор как у нее появился велосипед, ей часто снилось, что она летает, совсем низко, у самой земли, задевая цветы на клумбах, сидя, как факир, на невидимом ковре.

Они въехали вверх по склону и помчались по ровной поляне. Том спросил:

– Может, рванем вниз по склону Боск-Хилл?

– Он довольно крутой, – ответила Дороти. – Думаешь, Филип справится?

– Справлюсь, – ухмыльнулся Филип.

И они свернули на Боск-Хилл-лейн, которая действительно шла круто вниз и местами резко поворачивала. Теперь Дороти ехала перед Филипом и позади Тома, который прибавил скорости и удалялся от них. Дороти ощутила знакомое упоительное стеснение в груди. Она оглянулась, чтобы посмотреть, как там Филип. Он был ближе, чем она думала, велосипед вильнул, и она оказалась у Филипа на дороге. Он дрогнул, перевернулся и пролетел по воздуху, почти прямо над Дороти. Она свалилась на дорогу, ободрав себе щиколотки. Колеса и педали велосипеда продолжали крутиться. Мимо проплыла Филлис, крепко держась за руль и чопорно выпрямив спину.

Дороти подняла Старого ворчуна и пошла смотреть на Филипа. Он распростерся на спине под дубом, утопая в зарослях дикого чеснока, смятых при падении и оттого невероятно резко пахнущих. Филип лежал неподвижно, глядя в небо сквозь крону дерева.

– Это я виновата, – сказала Дороти. – Я во всем виновата. Тебе больно?

– Нет, кажется, ничего. Только дух отшибло.

Он расхохотался.

– Что такого смешного?

– Оказывается, за городом есть вещи, которые воняют не хуже городских. Только травяной вонью, а не дымной. Я в жизни ничего подобного не нюхал.

– Это дикий чеснок. Да, он не очень приятно пахнет.

Филип все смеялся и никак не мог перестать.

– Ужасно разит. Но это для меня новое, понимаешь.

Дороти села на корточках рядом с ним:

– Ты можешь встать?

– Да, встану через минутку. Дай чуток полежать. У меня дух отшибло, как говорится.

Велосипед поломался?

Дороти проверила велосипед. Он был невредим.

Филип лежал в омерзительном и притягательном запахе, расслабляя мышцы, одну за другой, так что земля удерживала его обмякшее тело, а он чувствовал все неровности, раздавленные стебли, узловатые корни деревьев, камушки, холодную плесень в самом низу. Он закрыл глаза и задремал на секунду.

Он очнулся оттого, что его трясла Дороти.

– С тобой точно все в порядке? Я тебя чуть не убила. У тебя нет сотрясения мозга или чего-нибудь вроде?

– Нет, я совершенно счастлив, – сказал Филип. – Здесь.

Дороти медленно произнесла, обдумывая каждое слово:

– Я тебя чуть не убила.

– Но ведь не убила же.

– Если хочешь, – предложила Дороти, выпуская на волю мысль, которая крутилась у нее в голове уже несколько часов, – можешь послать открытку своей маме, просто написать, что с тобой все в порядке и чтобы она не беспокоилась, понимаешь… Я могу достать тебе открытку и потом ее отправить.

Филип молчал. Мысли шевелились у него в уме. Он нахмурился.

– Извини, – сказала Дороти. – Я не хотела тебя расстроить. Я хотела помочь.

Она сгорбилась, обхватив руками колени.

– Да нет. Ты меня не расстроила. И ты права. Надо написать мамке. Если ты мне достанешь открытку, я напишу. Спасибо.

* * *

Назад они доехали в более серьезном настроении. Дороти достала из письменного стола Олив почтовую открытку и марку. Филип неловко взял в руку перо и уставился на пустой прямоугольник. Дороти, не желая стоять у него над душой, отошла к окну. Раз или два Филип вроде бы принимался писать, но так и не начал. Дороти решила, что у него получится, если она уйдет. Стоило ей положить руку на дверную задвижку, Филип вдруг сказал:

– Дай слово, что ты не станешь это читать.

– Обещаю. Письма – это частное дело. Даже открытки. Я могу дать тебе конверт, тогда то, что ты напишешь, будет твоей личной тайной. Хочешь?

– Угу, – ответил Филип. И добавил: – Это еще и потому, что я пишу с ошибками.

Он написал:

*Драгия Мама и фсе
Я фпорядке и скора апять напешу. Надеюс вы здаровы. Филип.*

Дороти принесла конверт, и Филип надписал адрес. Он был благодарен Дороти за то, что она поняла его желание и его долг, и в то же время сердился на нее за это.

3

Уэллвуды устраивали праздник Летней ночи уже в третий раз. Они приглашали социалистов, анархистов, квакеров, фабианцев, художников, издателей, свободных мыслителей и писателей, которые жили, все время или на выходных, в перестроенных коттеджах и фермерских усадьбах, домах в стиле Движения искусств и ремесел, таунхаусах, построенных когда-то для рабочих, в деревнях, лесах и на полях Кентского Уилда, Северного и Южного Даунса. Все эти люди сбежали от городского дыма и чаяли наступления утопии, в которой никакого дыма больше не будет. Праздники Уэллвудов не были замороженными фабианскими чаепитиями с практическими чашками и блюдцами, без малейшего оттенка веселья. Не были они и политическими митингами с дебатами по поводу Совета Лондонского графства, «Свободной России» и голода в Российской империи. Это были веселые, несерьезные сборища при свете фонариков, карнавалы с костюмами из шелка и бархата, маскарады, танцы под флейту и скрипку.

Дети смешивались со взрослыми, заговаривали с ними первые, и взрослые тоже говорили с детьми. Дети в этих семьях конца девятнадцатого века отличались от детей предшествующих и последующих поколений. Они не были ни куклами, ни миниатюрными взрослыми. Их не упрятывали с глаз долой в детские, их допускали на семейные трапезы, их зарождающиеся характеры воспринимались всерьез и обсуждались с рациональной точки зрения за столом или во время долгих прогулок по окрестностям. И в то же время дети этого мира жили своей отдельной, во многом независимой детской жизнью. Они носились по лесам и полям, строили укрытия, лазили по деревьям, охотились, ловили рыбу, катались на пони и на велосипедах в обществе только других детей. А других детей было много. Семьи были большие, и по мере того, как члены семьи рождались – или умирали, – баланс семейных отношений едва заметно смещался. Еще в этих семьях ребенок принадлежал к какой-либо группе: он был «один из старших» или «один из младших». Старшие часто игнорировали или порабощали младших, и младшие вечно бунтовали. Старшие же были недовольны, что их заставляют всюду таскать с собой младших братьев и сестер, которые только мешают устраивать опасные вылазки.

Родителям – Уэллвудам в том числе – было трудно придерживаться на практике того, во что они верили в теории: любить всех детей одинаково. Когда у мужчины и женщины восемь, десять, двенадцать детей, любовь распределяется совершенно по-другому, чем в семьях с одним-двумя детьми. Любовь зависела и от интервала между детьми, и от здоровья родителей, и от смертей, и от случайности, по которой один ребенок выживал в эпидемии или после несчастного случая, а другой погибал. В некоторых семьях самый любимый ребенок умирал и по-прежнему оставался самым любимым. В других семьях покойники, судя по всему, исчезали без следа и больше не упоминались в разговорах, словно никогда не существовали. В иных семьях очередного рождения страшились и всячески избегали, только для того, чтобы позднее, явившись на свет среди крови и опасности, этот ребенок стал самым любимым.

Родителям этих лелеемых детей в большинстве далеко не так повезло. Если они и пользовались в детстве свободой, то лишь потому, что о них вообще не заботились или хотели закалить трудностями, а не потому, что свобода была им полезна.

Свобода как этих детей, так и этих родителей во многом зависела от самоутверженного труда слуг и преданных тетушек, которые в дни более строгого воспитания были старомодными сестрами.

* * *

Уэллвуды казались одной из типичных открытых и приятно многочисленных семей. Хамфри Уэллвуд был вторым сыном квакера – торговца шерстью, который, в свою очередь, при-

ходился младшим братом квакеру-банкиру. Семья происходила с севера Англии, из мест, где Йоркшир встречается с Ланкаширом, к югу от Кумбрии. Хамфри родился в 1856 году, а его брат Бэзил – двумя годами раньше. В 1873 году Бэзила отдали в дядин брокерский бизнес, работать клерком у биржевого брокера. Он преуспел в Сити, перешел на работу в английско-немецкий банк «Вильдфогель и Квик» и в 1879 году женился на дочери Вильдфогеля Катарине. Ему в это время было двадцать пять лет, а ей двадцать семь.

Хамфри проявил большие способности во время обучения в школе, и его квакерские учителя уговорили Джорджа Уэллвуда послать сына в Оксфорд. В 1874 году он начал учебу в колледже Бэллиол, где попал под влияние Бенджамина Джоуэтта и Т. Х. Грина, которые верили, что обучаются будущих вождей человечества, но также в значительной степени ощущали то, что Беатриса Уэбб в молодости описывала как растущее «классовое сознание греха» или чувство вины. Движимое этим сознанием греха, поколение молодежи, о котором идет речь, решило лично идти к беднякам и творить добро. Эти юноши и девушки переселялись в Ист-Энд и управляли многоквартирными домами для бедных. Они проводили занятия по университетской программе для рабочих. Г. М. Хиндман, основавший в 1882 году Социал-демократическую федерацию, скептически смотрел на мотивы этих прекраснодушных людей. Они плывут по течению модного сочувствия, говорил он; они открыли, что за стеной Английского банка стоят кирпичные дома, в которых живут два или три миллиона человек, многие – в прискорбной нищете. Хиндман был циник. Он как-то сказал, что «множество браков среди высших классов стало результатом этих будоражающих экскурсий в неизведанные места обитания бедняков».

Хамфри закончил университет в 1877 году, двумя годами позже христианского деятеля Арнольда Тойнби, чью преданность беднякам и раннюю смерть каноник Барнетт увековечил основанием Тойнби-холла. Тойнби-холл был задуман как сообщество выпускников университета, желающих жить среди бедняков и просвещать их. Хамфри, пылающий энтузиазмом, вполне предсказуемо переехал в Ист-Энд и снял две комнатушки в Колледж-Билдингс, образцом многоквартирном доме для бедных. Хамфри читал лекции в самых разных местах и на любые темы: английский язык, идеалы демократии, санитария и гигиена, Генрих V, золотой стандарт, английская литература. В Оксфорде он, как все, изучал древние языки и математику. Литература приводила его в восторг. Он рассказывал ученикам про Шекспира и Раскина, Чосера и Джонатана Свифта, Уордуорта, Кольриджа и Китса. У него хорошо получалось; он обзавелся свитой преданных учеников самого разного возраста. Он читал им вслух: с жаром, точно выражая мысли, охотно разъясняя непонятные места увлеченным слушательницам после окончания лекции.

В 1879 году онставил «Сон в летнюю ночь» в зале при церкви в Уайтчепеле. Труппа была эпатажной смесью настоящих рабочих и захожих идеалистов. И столь же эпатажной смесью мужчин и женщин. О чем бы ни думал Хамфри, он почти постоянно думал о женщинах. Ему грезились талии и щиколотки, распущенные волосы и ляжки, ходящие ходуном под скромными юбками. В пьесе «Сон в летнюю ночь» много хороших женских ролей, но Хамфри знал, что этот проект полностью держится на двух молодых женщинах, которые посещали все его лекции, садились на первом ряду и задавали умные вопросы. Эти девушки бросались в глаза среди кокни, ирландцев, поляков и немецких евреев. Они говорили на протяжном йоркширском диалекте. Хамфри и сам говорил как образованный, но йоркширец, укорачивая гласные. Девушки носили простые, хорошо скроенные темные платья и очень хорошенъкие шляпки, украшенные веселенькими шелковыми цветочками – анемонами, анютиными глазками, маками, фиалками. Старшая была поразительно красива – огромные карие глаза и узел волос цвета красного дерева. У младшей глаза тоже были карие, но не такие большие, обычно опущенные долу, и каштановые волосы затянуты в узел чуть потуже. Девушки были явно не из породы захожих дам-благотворительниц. Нет, они были из достойных бедняков – пер-

чатки изношены до дыр, ботинки состарились и потрескались, – но все же в этих девушких под слоем респектабельности было что-то дикое, свободное, импонирующее вольной жилке в натуре Хамфри.

Он подружился с молодым кембриджцем Тоби Юлгриром, который писал диссертацию по Овидию в надежде получить место в Питерхаузе и читал жителям Ист-Энда лекции о британских волшебных сказках и мифах, – это было его истинное и страстное увлечение. Христианские убеждения Тоби мало-помалу испарялись, но он верил, что и в небе, и в земле скрыто больше, чем снится большинству людей. Однажды за пивом он серьезно сказал Хамфри, что видит непостижимых тварей не только в лесах вокруг Кембриджа: они шныряют меж ларьков на рынке и выглядывают из окон на Майл-Энд-роуд. «Наш мир взаимопроникаем, – сказал он. – Раньше мы это знали. Но утратили знание». Он был широкоплечий, среднего роста, с мускулистыми ягодицами и икрами, с густой кудрявой шевелюрой львиной масти. Глаза у него были голубые, как у гаммельнского Крысолова, или как пламя свечи, если сыпнуть на него соль. Люди ходили на лекции Тоби по разным причинам. Ювелиры и скульпторы – за идеями для брошек и сюжетами резных поделок с «маленьким народцем» или призраками. Верующие, неудовлетворенные своей религией, приходили в попытках восполнить утраченную духовную жизнь. Матери – за сказками, чтобы потом рассказывать их детям. Учителя – за знаниями. А потом люди стали приходить, потому что прошел слух: никогда заранее не знаешь, что скажет мистер Юлгрир или на какое сокровенное знание заявит права.

Друзья с некоторым опозданием заметили, что две барышни Гримуит сидят в первом ряду и на литературе, и на британском фольклоре. И еще поняли, что оба влюблены в старшую мисс Гримуит.

– Ты ей больше нравишься, – сказал Тоби. – У тебя есть *gravitas*.¹ Ты производишь на нее впечатление. А я просто клоун.

Хамфри не стал спорить; он и сам так думал. Он сказал:

– Мы можем поставить «Сон в летнюю ночь», а она будет Титанией. Я уверен, она спрявится. Задействуем обе группы, мою и твою.

Разумеется, режиссером стал Хамфри. В конце концов он понял, что и роль Оберона не в силах никому отдать. Он предложил Тоби роль Пэка, но Тоби сказал, что всегда хотел сыграть Основу, – к тому же это хотя бы дает шанс полежать в объятиях мисс Гримуит. Они выпросили право использовать зал при церкви в Уайтчепеле и попробовали мисс Гримуит на роль – ее звучный, легкий голос подошел идеально. Мисс Виолетте Гримуит предложили играть Гермию или Ипполиту, но она сказала, что не хочет выступать, а лучше займется костюмами, так как она портниха. На роль Пэка нашли идеальную кандидатуру – жилистого мальчика-кокни, уличного торговца, а на роль Елены взяли высокую светловолосую библиотекаршу. Афиняне представляли собой приятную для глаза пеструю смесь гостей-джентльменов и туземцев-рабочих. Все единодушно сочли костюмы гениальными. Олив Гримуит была в невесомом платье цвета лунного серебра с павлиньями перьями и шелковыми цветами и босиком. Хамфри хотелось пасть ниц и целовать эти ступни. Он истязал себя, подробно перечисляя в уме прочие деяния, которые хотел бы совершить. В конце волшебной пляски, завершающей пьесу, он закружил Олив, увлек ее за кулисы и заключил в объятия.

В 1880 году они расписались в уайтчепельском регистрационном бюро. Свидетелями были Виолетта и Тоби Юлгрир.

Хамфри не сразу сообщил родителям, что он теперь женат. Отец присыпал ему из Йоркшира содержание, так как верил, что Хамфри готовится к карьере университетского преподавателя, и не возражал против его благотворительных трудов, а даже одобрял их. Сын Питер родился через два месяца после свадьбы. Через несколько месяцев Хамфри представил моло-

¹ Серьезность (лат.).

дую жену с младенцем своему старшему брату. Катарина Уэллвуд в то время тоже ожидала ребенка (Чарльза, который родился в 1881 году). Младенец Питер был неотразим, как раз в возрасте уверенности в себе и улыбок, Олив – элегантна и держалась как истинная леди. Бэзил прочитал Хамфри лекцию о непредусмотрительности, об ответственности и нашел ему постоянную работу – клерком в Английском банке. Не о такой работе мечтал Хамфри, но эта давала постоянный, хотя и скромный, доход. Хамфри, Олив, Виолетта и Питер въехали в небольшой домик в Бетнал-Грин. Хамфри обратил свой острый ум на банковское дело. Денежная система должна базироваться на серебре и золоте, на обоих металлах, к очевидной выгоде для нашей Империи и торговли с Индией. Бэзил, как и большая часть Сити, поддерживал золотой стандарт. Бэзил почувствовал, но вслух не сказал, что Хамфри не только безответственный человек, но еще и неблагодарный перебежчик.

* * *

1881 год был годом начинаний. Он положил начало нескольким идеалистическим проектам и группам, основатели которых верили, что мир скоро перевернется к лучшему. Демократическая федерация, Общество изучения паранормальных явлений, Теософское общество, движение против вивисекции. Все они ставили своей целью изменение, полную перестройку человеческой природы. Молодые Уэллвуды ознакомились с этими обществами и вступили в кое-какие из них. Тоби Юлгрив, ставший почти членом маленькой семьи, немедленно присоединился к теософам и друзей увлек за собой. Все трое также посещали первые собрания Демократической федерации, куда ходили по большей части немецкие и австрийские социалисты и анархисты, несколько недовольных рабочих-англичан и горстка университетских идеалистов. Уильям Моррис защищал австрийского диссidentа Иоганна Моста, написавшего «торжествующий гимн» (по выражению Морриса) в честь убийства царя Александра II. Моста отправили в британскую тюрьму, и Хиндман устроил публичную демонстрацию. Бэзил умолял Хамфри ни во что не ввязываться.

В октябре 1882 года Эдвард Пиз основал «Братство новой жизни», и молодые Уэллвуды сталиходить на встречи. И там, и в Демократической федерации они обсуждали организацию безработных, питание детей в пансионах, национализацию шахт и железных дорог, государственное строительство домов, пригодных для народа.

Зимой 1882 года, на рождественской неделе, Питер заболел крупом и умер. В ту же неделю родился Томас Уэллвуд.

В 1883 году Олив Уэллвуд сильно болела. Ведение хозяйства в домике взяла на себя Виолетта. Умер Карл Маркс. Террористы предприняли попытки взорвать местные отделения государственных служб, редакцию газеты «Таймс», битком набитые поезда метро, в которых люди возвращались с выставок в Южном Кенсингтоне. Бэзил повел Хамфри к себе в клуб и там очень твердо заявил ему, что анархизм – это никуда не годится. Не пристало служащему Английского банка открыто якшаться с анархистами.

Хамфри в ответ повез жену – чтобы сменить ей обстановку, как он сказал Катарине, – в Мюнхен, где они несколько раз тайно встречались с вольнодумцами и социалистами. Они ходили в Старую пинакотеку и присутствовали на открытии пивного погребка «Левенбройкеллер», где все было как положено – салфетки, скатерти, четыре военных оркестра. Олив оправилась настолько, что плясала на Фашинге. Том остался дома с Виолеттой – в первый раз, но не в последний.

В 1884 году от «Братства новой жизни» отпочковалось Фабиансское общество. Хамфри и Олив, к которой вернулась бледная красота, вступили в него. Вступил и Тоби, хотя посещал собрания нерегулярно. Олив на всех собраниях вязала, не подымая головы, щелкая спицами.

Поздней осенью 1884 года родилась Дороти. Весной 1886 – Филлис. В 1888 – мертвая девочка.

В 1887 году Олив написала несколько рассказов для детей и продала в разные журналы. Сюжеты были самые обычные, о детях в трудном положении – богач подбирает сиротку, дети шахтеров пытаются спасти семью от голода, больного ребенка возвращает к жизни говорящий попугай.

В 1890 году родилась Гедда, в 1892 – Флориан.

В 1889 году вышла в свет «Синяя книга фей» Эндрю Ланга. В детские сказки вдруг ворвалась настоящая магия, мифы, выдуманные создания и миры. Ранние рассказы Олив были мрачно-сентиментальными и непрятательными. Приход – или возвращение – волшебной сказки словно открыл потайную дверь в воображении Олив. Она стала писать неудержимо, ясно и смело. Идеи она брала из книжек Тоби о фольклоре. Она изобретала свирепые, прячущиеся от людей эльфийские и гномы племена. Она написала «Эльфинию и лесных зверей», «Сандалии саламандры», «Королеву ледяных пещер», «Потаенный народец из пенала», «Скучную скважину» и «Историю пропавшего мальчика, или Кустарник». Они создали ей имя и принесли неплохие деньги. Сейчас Олив, кроме журнальных рассказов, писала небольшие книжки и книги побольше.

* * *

Молодая семья Уэллвуд решила переехать за город, купила пришедшую в упадок усадьбу «Жабья просека», восстановила ее и устроилась там ко времени рождения Флориана (в середине лета 1882 года). В 1893 году родилась еще одна девочка и прожила неделю.

В том году и Хамфри Уэллвуд начал писать для журналов и газет. Он написал несколько статей для «Экономиста» под собственным именем. А еще он начал публиковать в сатирическом еженедельнике «Мидас» серию анонимных репортажей о сомнительных финансовых сделках. Хамфри писал под псевдонимом Мартовский Заяц. Он писал о «кафрском цирке» и о деятельности «lordов Рэнда», торговавших южноафриканским золотом. Он интересовался новыми австралийскими шахтами (иные из них были столь же вымыщленными, как «Скучная скважина» из сказки Олив). Дети Уэллвудов играли в охоту на гномов и гигантских червей – погоня шла через «Шахту прыгунов», «Норвежскую», «Гленов рудник», «Розовый рудник», «Деревенский», «Рудник Гольденхойз» или через «Награду Бейли», «Синицу в руке», «Императрицу Кулгарди», «Веру», «Пан или пропал», «Вовремя», «Копи царя Соломона», «Nil Desperandum»² и «Сокровища мира». Многие из них Том представлял себе очень ясно. «Розовый рудник» был цепью сверкающих пещер из розового кварца, из которой по склонам гор струились извилистые реки. В «Nil Desperandum» было черно и скользко, мрачные огни пылали в потайных трещинах, воронки открывались к небу. Том знал, что из глубины шахты даже днем видны звезды, и пытался вообразить, как это выглядит на деле. Небо, на котором виднеются звезды, – оно синее или черное? А почему?

Бэзил Уэллвуд делал деньги на «кафрском цирке». Он и Хамфри давал советы по вложениям небольших сумм, но Хамфри вместо этого почти сразу вложил деньги из принципа в акции велосипедной фабрики. Дела компании по производству велосипедных шин «Данлоп» пошли в гору, и Хамфри вдруг обнаружил, что его финансовые дела более чем хороши. Хамфри нанял учителя математики с дальним прицелом – подготовить Тома в Итон. Тоби помогал с изучением классиков.

На празднике Летней ночи 1895 года пили шампанское.

² «Не отчаиваться» (лат.).

4

Дата праздника Летней ночи могла слегка меняться. Хамфри объяснил Филипу, что день летнего солнцестояния, то есть самый длинный день солнечного года, на самом деле выпадает на 21 июня. Но европейский праздник святого Иоаннаправляют вечером 23 июня, предшествующим Иванову дню 24 июня, который также называется «Серединой лета».

– На практике, – сказал Хамфри, который считал, что с молодежью надо говорить как с равными, – на практике мы со своим праздником поступали то так, то этак – выбирали то истинный день солнцестояния, то Иванов день, смотря по тому, на какой день недели они выпадали, чтобы удобнее было праздновать. Сегодня пятница, двадцать первое – истинная середина лета, хотя канун середины лета был вчера, и с рассвета субботы дни начнут убывать, несколько раньше европейской даты праздника... В субботу полнолуние, так что мы будем праздновать, если повезет с погодой, при свете растущей выпуклой луны. Выпуклый – хорошее слово.

Хамфри любил смаковать слова. Филипа встревожил поток речи, летевший с той стороны стола. Обычно слова не обрушивались на Филипа в таких количествах. Но теперь он смог представить себе растущий выпуклый диск, и его неуемное воображение принялось расписывать большую чашу убывающими выпуклыми, растущими выпуклыми и истинно круглыми лунными дисками. Может получиться интересно. Серебро и золото на темном кобальте.

– Пятница – удобный день для наших друзей, – сказала Олив. – Они все соберутся здесь на выходные, подальше от города. Филип, мы тебя совсем загоняем приготовлениями.

– Это хорошо, – сказал Филип.

* * *

Все семейство, чада, домочадцы, прислуга и Филип самозабвенно трудились. Олив и Хамфри оба закончили свою писанину – уже почти на рассвете, до завтрака. Кухня полнилась запахами готовки, и на обед всем дали только хлеб и сыр, потому что печь и большая часть посуды были уже заняты. Филипа отрядили украшать сады – декоративный и плодовый. Он помогал расставлять складные столы на газоне возле дома, а потом в особо живописных местах разместил стулья небольшими уютными группами, словно для заговорщиков. В ход пошли все стулья – плетеные, конторские, школьные, кресло-качалка из детской, железные садовые. Их расставляли под увитыми зеленью сводами беседок, на прогалине посреди кустарника, даже в саду под яблонями. Потом фонарики – их развесили на ветках, скрыли в купах густой травы и декоративного чертополоха цветочных бордюров. Филипа вместе с Филлис послали вешать фонарики в плодовый сад. Это было запущенное, унылое место. С искривленных ветвей старых плодовых деревьев свисали мох и лишайники, с воли в сад проникли колючие плети ежевики и местами задушили все остальное. На некоторых деревьях были какие-то странные надстройки из досок, с кусками свисающих веревок. Филлис сказала, что они хорошо подойдут для иллюминации. Она привязала фонарики к веревкам и велела Филипу залезать наверх.

– Это старые дома на деревьях, – сказала Филлис. – С тех пор, когда мы были еще маленькие. В эти даже Гедда может залезть. У нас теперь есть другой дом на дереве, гораздо лучше – далеко в лесу. Но это секрет, – неуверенно добавила она.

Филип в это время подбирал жесткую падалицу. Филлис предупредила, чтобы он остерегался ос.

– В яблоках бывают всякие червячки – вдруг возьмет да и высунет черненькую головку. Ужасно противно, только подумать – вонзаешь зубы, а там что-то извивается...

Они побрали вглубь сада. Филлис показала пальцем:

— Эти два дерева — волшебные, из сказки. Золотая яблоня и серебряная груша. Золото и серебро можно увидеть только при определенном свете, а так приходится верить. Эти два дерева — в самой середине. Их ветви касаются земли, а вершины — неба. А все это... переступень, шиповник... растет вокруг, чтобы их украсить.

Деревья были старые, запущенные, прекрасные. Филип смотрел на сплетения узловатых ветвей и жалел, что у него нет карандаша. Филлис взяла его за руку и потянула вперед:

— А вот тут лежит Рози. Видишь, вон круг из белых камушков. Она под ними и под яблоней и под грушей.

Котенок? Птичка?

— На день ее рождения мыносим ей цветы. И делаем возлияния яблочного сока. Мы ее не забываем. Мы ее никогда не забудем.

Голос у нее был торжественный и густой от избытка чувств.

— Она прожила на свете неделю, всего одну недельку, и ее не стало. У нее были совершенно дивные, изумительные пальчики на ручках и ножках. А теперь она спит здесь.

Филлис почтительно склонила голову. Филип почувствовал актерскую игру, но не облек свою мысль в слова. Он немилосердно спросил себя, задумывалась ли Филлис хоть раз, что там лежит на самом деле — под белыми камнями, меж корней. Он сказал туманно и фальшиво:

— Это хорошо.

Он швырнул горсть жестких мелких яблочек в заросли ежевики. Повесил фонарь с полу-месяцем и темной тенью птицы на ветви груши, над белыми камнями.

Филлис взяла его за руку. Прижалась всем тельцем к его боку. Филип почувствовал, что ее плоть всегда была чистой и приятной, а его собственная, по контрасту, — никогда. Это снова было только ощущение, не облечено в слова. Он отстранился.

Когда сад был украшен, а обед из хлеба с сыром съеден, все начали облачаться в костюмы. Виолетта одевала детей, в том числе Филипа, в классной комнате, а Хамфри и Олив пошли надевать собственные наряды, напоминавшие об «их» пьесе — «Сне в летнюю ночь», не строго елизаветинские и не афинские, но летящие шелка и льны в духе Движения искусств и ремесел, серебристые и золотистые, цветастые и струящиеся.

В классной комнате стоял большой раскрашенный сундук, имитация ренессансного сундука для приданого. На нем были нарисованы лесные пейзажи, темные поляны, бледные дамы, гончие и белый олень. Это был костюмерный сундук. В нем хранилась необычайно богатая коллекция шелковых сорочек, рубашек с оборочками, вышитых шалей, обручей с вуалями и корон для принцев.

— Очень удобно, когда тетушка — портниха, — сказала Виолетта, обращаясь к Филипу. — Я могу превратить тогу в бальное платье или наоборот и сделать волшебные шелковые цветы из старого чулка. Я думаю, Гедду стоит одеть Душистым Горошком. Вот дивная розово-сиреневая сорочка.

Гедда рылась в ворохах шелка, запустив в сундук обе руки.

— Я хочу быть ведьмой, — сказала она.

— Милая, я же тебе сказала, — произнесла Виолетта. — Ведьмы бывают на Хэллоуин. А в Летнюю ночь должны быть феи. С хорошенъкими крылышками из органзы. Вот погляди.

Пришла Олив со сверкающей пряжкой — попросить Виолетту пришить ее к шарфу. Олив взъерошила волосы Гедды.

— Ну пусть будет ведьмой, если хочет, — небрежно сказала она. — Мы же хотим, чтобы они были довольны, правда? Чтобы могли бегать и веселиться. Милая, ты нашла ведьминский костюм? Вот моя старая черная шаль с прекрасной бахромой. Видишь, на ней вышит огнедышащий дракон. А вот старая танцевальная туника Филлис — Ви, ты только прихвати в паре мест, чтобы она не распахивалась. А вот брошь, стеклянный жук, то, что надо. А Филип сделает тебе шляпу из черной бумаги. Филип, только не слишком большую, чтобы она не сваливалась.

– И метлу, – сказала Гедда.

– Тогда сходи на кухню и попроси там веник.

У Виолетты было такое лицо, словно она вот-вот взорвется, – похожее выражение бывало и у Гедды, – но она повиновалась, и скоро малышка уже кружилась в вихре черных крыльев летучих мышей и летящей по воздуху бахромы. Виолетта одела покорного Флориана в желтое и зеленое, в куртку с фестонами – он изображал Горчичное Зернышко. На голову ему водрузили остроконечную фетровую шапочку, которую он все время растерянно трогал. Филлис приняла отвергнутую роль Душистого Горошка, и ее любовно задрапировали маркизетом – сиреневым, розовым, цвета слоновой кости. Надели на нее серебристый плащ, напоминающий сложенные крылья стрекозы, а на голову – венок из шелковых цветов.

Дороти изображала Мотылька – в серой бархатной тунике, в плаще, на котором были нарисованы глаза. Виолетта пыталась уговорить ее надеть проволочные усики, но тщетно.

Тому выпала роль Пэка. Он был босиком, в обтягивающих коричневых лосинах и куртке цвета листьев. Он тоже отверг головной убор и сказал, что вплетет в волосы веточки. Филлис сказала, что Пэк не носил очков. «Этот носит, – ответил Том, – иначе свалится в пруд или запутается в колючках».

Возник вопрос: что делать с Филипом. Он сказал, что не наденет костюм, потому что будет чувствовать себя по-дуряцки. Никто не хотел предложить ему должность рабочего сцены. Это было бы грубо. Том спросил:

– Может, ты наденешь тогу и будешь афинянином?

Филип не знал сюжета «Сна в летнюю ночь», и выбор костюмов привел его в полнейшее недоумение. Он сказал, что, наверное, не сможет ходить в тоге. По правде сказать, он не представлял себе, что это вообще такое.

– Я не люблю, чтоб на меня глядели, – сдавленно сказал он.

Все дети, даже те, что прыгали кругом, хвалясь нарядами, прекрасно понимали, что значит, когда человеку не хочется, чтобы на него смотрели. Тут Дороти осенило. Она сняла со стены кубово-синий халат, который Том надевал на уроки рисования:

– Ты можешь нарядиться художником. Кстати, ты и по правде мог бы в нем ходить, когда делаешь горшки и все такое.

У халата было высокое горло, широкие рукава, глубокие карманы. Он надевался сверху на одежду. Во многих отношениях это был меньший маскарад, чем теперешняя заемная одежда Филипа. Он посмотрел на свои ноги.

– Ты можешь пойти босиком, – сказала Дороти. – Мы ходим босиком.

– Ты можешь пойти как есть, – сказал Том.

Филип надел халат. Он был удобный. Филип позволил Виолетте переменить ему ботинки на сандалии. Все, кто не ходил босиком, были в сандалиях.

– Теперь ты можешь бегать и прыгать, – сказала Дороти.

Ноги Филипа под ремешками сандалий были бледные, но не белые. Мысль о том, что можно бегать и прыгать, доставила ему мимолетное удовольствие.

* * *

В середине дня начали прибывать гости. Не все сразу, а одни за другими, из близких и далеких краев, в экипажах, двухколках, запряженных пони, пролетках, взятых на железнодорожной станции, пешком, а в одном случае даже на трехколесном tandem-велосипеде.

Хамфри и Олив стояли на ступенях и встречали гостей. Супруги оделись Обероном и Титанией. На Хамфри была шелковая куртка, расшитая флорентийскими арабесками, черные бриджи и объемистый бархатный плащ, державшийся под невероятным углом на шелковом шнуре, перехватившем плечо. Хамфри выглядел нелепо и прекрасно. Эта роль его забав-

ляла. На Олив был плиссированный оливковый шелк поверх плиссированного белого льна, а сверху батистовый плащ с прожилками – словно крылья стрекозы. Волосы увиты жимолостью и розами. Рядом стояла Виолетта в платье, расшитом ивовыми листьями по атласу, по-девичьи склонив голову, тяжелую от шелкового плюща и белых перьев. Вокруг носились дети. Их призовут к порядку, когда появятся другие дети.

* * *

Первыми – им надо было только перейти лужайку – явились из фермерского домика русские анархисты. Василий Татаринов бежал из Санкт-Петербурга в 1885 году. Он читал лекции о русском обществе и получал щедрое вспомоществование (в том числе право пользования тем самым домиком) от английских социалистов. У Василия было две смены одежды: рабочий халат и парадный костюм для лекций. Сегодня Василий пришел в костюме. Он бросался в глаза – необыкновенно высокий, тощий, с длинной остроконечной белой бородой, похожий на волшебника. Его жена Елена пришла в лучшем из своих двух платьев – коричневом поплиновом, отделанном черной тесьмой и черными пуговицами. Волосы гладко зачесаны назад. До карнавальных костюмов Татариновы не снизошли. Их дети, Андрей и Дмитрий, примерно ровесники Филлис, были в повседневных фартуках – красном и синем. Они по большей части притворялись, что не говорят по-английски.

На трехколесном велосипеде, крутя педали, прикатили Лесли и Этта Скиннер, собрата-фабианцы. Скиннер занимался антропологической статистикой и наследственностью в лондонском Юниверситети-колледже. У Лесли были прилизанные черные волосы, белая кожа и синие глаза. Этта была старше мужа. Они познакомились в 1880 году в Клубе мужчин и женщин при колледже. Там обсуждали женский вопрос, противозачаточные средства, животные страсти и сексуальные инстинкты. Скиннер был очень серьезный, с чарующим голосом. Он возбуждал немалые животные страсти в коллегах и студентках. Уэллвуды согласились между собой, что он женился на Этте, чтобы защитить себя от безумных менад. Этта была пламенной теософкой, посещала собрания на Албемарл-стрит, посвященные эзотерическим и астральным материям, читала лекции о вегетарианстве, а также учила грамоте и арифметике лондонских бедняков. У Этты было круглое лицо, плотно сжатый рот и волосы цвета перца с солью, пушащиеся посеченными концами. Казалось, она когда-то была жадной и нетерпеливой, но перевоспиталась. Она приходилась дальней родней Дарвинам, Веджвудам и Гальтонам; это не могло не заинтересовать специалиста по наследственности, как заметил Хамфри. Но Скиннеры, женатые уже десять лет, были бездетны. Странно, сказал Хамфри, что люди, изучающие наследственность, часто сами не имеют наследников. Олив ответила, что ей не нравится, как одевается Этта: она сама красит материю для своих платьев и все они похожи на мешки. Этта сняла велосипедную юбку и вуаль, и стало видно повседневное платье неровного сливового цвета.

Вслед за Скиннерами прибыл Тоби Юлгри, тоже на велосипеде. Тоби владел крохотным коттеджем в лесу и приезжал туда на выходные. Тоби с Эттой тут же принялись обсуждать народные обычай, связанные с Летней ночью.

Проспер Кейн приехал из Айуэйд-хауза в экипаже с Джулианом и дочерью Флоренцией. Они все были в костюмах. Проспер – в костюме Проспера: обширных одеждах черного бархата, расшитых знаками зодиака. В руке он держал длинный посох из бивня нарвала. Навершие посоха было усажено «лунными камнями» и оливинами. Джулиан оделся в театральный костюм принца Фердинанда, черный с серебром. Двенадцатилетняя Флоренция была в очень красивом костюме Миранды, в струящейся рубашке цвета морской волны, с развевающимися темными волосами, в жемчужном ожерелье. Джулиан и Том осторожно поглядывали друг на

друга. Они пережили совместное приключение, но оба не были уверены, что хотят дружить. Подошла улыбающаяся Олив, и Проспер поцеловал ей руку. Он шепнул ей на ухо:

— Дорогая, я позаимствовал из музея одну совершенно фантастическую вещь, только не говорите никому.

— Даже не знаю, верить ли вам.

Он так и не выпустил ее рукой:

— Никто мне никогда не верит. Я излучаю неопределенность.

Джулиан заметил Филипа в халате:

— А я тебя не узнал.

Филип переминался с ноги на ногу. Том сказал:

— Он сделал совершенно потрясные фонари. Пойдем посмотрим.

Они пошли прочь, и Флоренция последовала за ними.

Приехала бричка, а в ней компания из Дандинесса; дамы везли маскарадные наряды в плетенных корзинках, поскольку ехали издалека. Бенедикт Фладд, как и предсказывала Олив, не явился. Серафита в те дни, когда еще была Сарой-Джейн Стаббс, прерафаэлитской красавицей из Маргейта, служила моделью Берн-Джонсу и Россетти. Сейчас ей было уже за сорок; она сохранила все черты, запечатленные на картинах, — тонкую кость, узел черных волос, огромный лоб, широко расставленные зеленые глаза и спокойную линию рта, но тело ее отяжелело, и кроткой благости в лице поубавилось. Она путешествовала в свободном платье фасона «либерти», но привезла с собой другой наряд, более роскошный, с вуалью, которую собирались набросить на голову и плечи. Детей звали Имогена — девочка шестнадцати лет, стесняющаяся своих грудей, Герант — чуть старше Тома, с глазами и волосами как у матери, и Помона — ровесница Тома, с волной каштановых кудрей. Обе девочки привезли вышитые бисерные «шапочки Джульетты», а Помона еще и домотканое платье, расшитое крокусами, нарциссами и колокольчиками. Герант был одет в какой-то домотканый халат, очень похожий на халат Филипа.

Фладдов сопровождал серьезный юноша по имени Артур Доббин. Он считал себя подмастерьем Бенедикта Фладда. Доббин надеялся основать в соляных болотах вокруг реки Рай коммуну художников. Он был низенький, пухлый, с зализанными волосами и настойчивым, рыскающим взглядом. Он хотел бы явиться на праздник в костюме Оберона или сэра Галахада, но знал, что это не пойдет. На нем были шерстяные вязаные егеревские одежды, разрекламированные Бернардом Шоу. Для жаркого июня он оделся чересчур тепло.

Дороти ждала следующего экипажа. Хамфри тоже ждал — он судорожно вдохнул, когда к дому подкатила элегантная коляска. Это были другие Уэллвуды. Они приехали из «Повилики», своей загородной усадьбы. На них были скромные дорожные костюмы, а в руках — коробки от модисток. Бэзил и Катарина смотрели по направлению движения; дети, Чарльз и Гризельда, сидели за спиной кучера, глядя назад.

Дороти ждала кузину Гризельду. Именно кузина Гризельда приходила на ум Дороти, когда та мысленно произносила слово «любовь» (которым обычно не разбрасывалась). Гризельда была одного возраста с Дороти и ближе ей, чем родная сестра Филлис. Дороти была реалисткой и понимала, что не любит Филлис, хоть и знала, что должна любить. Может быть, именно поэтому Дороти чуть более подчеркнуто любила Гризельду, которую видела не слишком часто. Дороти иногда опасалась, что от рождения обделена способностью любить по сравнению с другими людьми. Филлис любила всех и вся — маму, папу, тетю Виолетту, Гедду, Флориана и Робина, Аду и Кейти, пони, пушистого котенка, мертвенькую Рози в саду, живущих в «Жабьей просеке» жаб. Дороти ко всем ним питала различные чувства. Кое-кого она любила. Но Гризельду она любила на самом деле, она выбрала Гризельду, чтобы ее любить.

Фрида, горничная Катарины, сидела рядом с кучером. Она слезла, чтобы руководить разгрузкой шляпных и одежных коробок.

Бэзил Уэллвуд был ниже и мускулистее младшего брата. Он носил хорошо скроенный светло-серый костюм, который не собирался менять на маскарадный, кольцо с бриллиантом и сложную часовую цепочку из множества переплетенных колец. Увидев яркие одежды Хамфри, Бэзил счел их нелепыми, нахмурился и не очень старательно скрыл это. Он поздравил Хамфри солнечным днем, словно Хамфри кого-то нанял для получения нужной погоды, и Хамфри в свою очередь счел это нелепым.

Четырнадцатилетний Чарльз, который как раз готовился к экзаменам в Итон, был похож на обоих братьев – у него были рыжевато-золотистые волосы, песочного цвета ресницы и сильные черты лица. Он тоже был в костюме, с шейным платком, заколотым жемчужной булавкой для галстука.

Катарина была худа и бледна; голова на стройной шее казалась маленькой по сравнению со шляпой, украшенной крыльями голубки и плотно прилегающей вуалью с мушками. Волосы у Катариньи были какого-то промежуточного цвета между выцветшим серым и мышиным блондинистым. Глаза – большие, тоже какого-то неопределенного цвета, в слегка пострадавших от времени, обведенных темными кругами орбитах, среди складок и тонких морщинок.

Гризельда была очень худая, с тонкими светло-серебристыми волосами, заплестенными в косу и уложенными короной вокруг головы (как у настоящей *mädchen*,³ подумал Хамфри). Одета она была в серо-бежевый дорожный костюм. Тонкий рот не улыбался. Гризельда была высокая и с виду не очень крепкая. Дороти побежала с ней здороваться.

Они пошли в дом переодеваться. Филлис, пристраиваясь хвостом за Дороти и Гризельдой, спросила:

– Кузина Гризель, а ты привезла красивый костюм?

– Вы все в маскарадных нарядах.

– Сегодня праздник Летней ночи, – сказала Дороти. – Мы его всегда справляем в костюмах. А ты?

– А я нет. Я привезла новое бальное платье. Увидите.

Одевание было делом не быстрым. Шнурки и пуговицы отняли целую вечность. Возникшие наконец из спальни Олив мать и дочь были совершенно очаровательны и абсолютно неуместны. На Катарине было платье из бело-сиреневого шанжана и валансьенского кружева с огромными буфами выше локтя. Туалет довершали лайковые перчатки и головной убор из кружев и свежих розовых бутонов, похожий на огромную подушечку для булавок. Гризельда была в платье светло-розового атласа с кружевной кокеткой. Платье украшали розовые бантики чуть более темного оттенка – на рукавах-буфах, по подолу. Филлис сказала, что платье очень красивое. Дороти воскликнула:

– Оно может запачкаться, если мы пойдем в сад.

– Оно тут совершенно не к месту, – ответила Гризельда. – Чарльз называет его «малютка Бо-Пип».

– Ты похожа на фарфоровую куклу, – заметила Дороти, – на куклу из сказки. Она стоит на полке, и в нее безнадежно влюблен оловянный солдатик или нахальный мышонок.

– На Портман-сквер это платье смотрелось бы абсолютно уместно, – безо всякого выражения произнесла Гризельда. – Думаю, мне придется потерпеть.

* * *

Явилась двуколка, запряженная пони. Сперва показалось, что в ней сидит труппа вампиров и привидений с белыми застывшими лицами. Двуколкой правил Август Штейнинг, обитатель коттеджа «Орешек», стоявшего на краю Даунса. Штейнинг слез с двуколки и встал на

³ Девушка (нем.).

длинные-длинные ноги с элегантно развернутыми, как у танцора, носками. У него была серебристая бородка, элегантные усы, густые, хорошо подстриженные серебристые волосы. Он приехал в костюме для сельской местности, но, переодевшись, стал еще одним Просперо, так как привез с собой каббалистический плащ с капюшоном и узловатый посох из древесины греческого ореха. Штейнинг был театральным режиссером, иногда и сам писал пьесы; больше всего прославились его постановки «Пера Гюнта» и «Бури», хотя, помимо этого, он написал еще историческую пьесу о Кромвеле и Карле I. У него были передовые идеи. Он интересовался новой немецкой драмой, немецкими сказками и фантазиями. (Коттедж «Орешек» назывался так не из-за ореховых деревьев, растущих в саду, а по зловещей сказке Гофмана про Щелкунчика и мышиного короля.) В повозке лежали кучей большие театральные маски.

— Дорогие, я привез вам ослиную голову, без нее Летняя ночь не обходится, а это не простая голова, ее носил сам Бирбом Три. Мы можем надевать ее по очереди и преображаться. А еще я привез восхитительные венецианские маски, вот Пьеро и Коломбина, вот гриф-стервятник — на самом деле он доктор-шарлатан, сторонящийся чумных бубонов... Вот черная колдунья, расшитая блестками. Вот Солнце в пылающей короне, вот Луна с облачными горами и серебряными слезами...

Он обратился к Олив:

— Я взял на себя вольность пригласить одного гостя. Он едет отдельно, так как ему нужно много места. Он следовал прямо за мной...

Тень раздражения пробежала по лицу Олив. Это ее праздник. Здесь она раздает дары. Тут прибыла еще одна двуколка с единственным человеком в неодушевленной компании, которая в данном случае была спрятана в черных коробках и сундуках с медными застежками.

— Кажется, вы давно знакомы, — сказал Август Штейнинг. (Он любил называть себя Августом в честь клоунов.) — Надеюсь, я не совершил оплошности.

Он заметил гримаску Олив.

Олив посмотрела на нового гостя, помедлила и бросилась к нему с распростертыми руками:

— Добро пожаловать. Какая неожиданная радость...

Незнакомец вылез из двуколки. Он был маленький, худой, темноволосый, в черных брюках в обтяжку, длинной черной куртке, черной фетровой шляпе, за ленту которой были заткнуты перья сойки. У него была остроконечная театральная бородка и ухоженные усы. Гравий не хрустал у него под ногами. Он на миг склонился над рукой Олив.

— Это и вправду наш старинный друг, мы встречались в Мюнхене. Майор Кейн, позвольте представить вам — герр Ансельм Штерн, человек искусства, весьма необычного. Герр Штерн, это мистер Уэллвуд, мой деверь, и Катарина Уэллвуд...

* * *

Детей она не представила.

Кейти получила приказ — помочь герру Штерну с коробками. Гедда потрогала коробки и спросила, что в них.

— Увидишь во благовремении, — сказал Август Штейнинг. — Мы надеемся, что твоя мама разрешит нам это показать.

Герр Штерн, наблюдая за разгрузкой коробок, вдруг обрел голос и, запинаясь, сказал по-английски:

— Я привез подарок для маленьких девочек.

Он неуверенно переводил взгляд с Дороти на разнарядженную Гризельду, на хорошенькую Филлис, на маленькую черную ведьму с жуком-брошкой.

— Коробка с красной лентой, — сказал герр Штерн, обращаясь к Кейти. — Пожалуйста.

— Что это может быть? — спросила Филлис.

— Откройте, пожалуйста, — сказал Ансельм Штерн.

Коробка была размером с обувную и завернута в бумагу, похожую на пергамент. Виолетта разрезала бечевку, Филлис развернула бумагу. Гедда выскочила вперед и сняла крышку с оказавшейся внутри коробки — очень похожей на обувную, а может, и вправду обувной. Гедда заглянула в коробку.

— Там башмак, — сказала она.

Виолетта вытащила то, что лежало в коробке.

Это был очень большой башмак из прошитой кожи, темной, красновато-коричневой, с большим языком и большой стальной пряжкой с острой булавкой в середине.

Дороти сперва показалось, что в башмаке мыши. Она отступила на шаг.

— Это дети, — неуверенно сказала Филлис.

Башмак был битком набит тряпичными куколками, круглоголовыми, с немигающими глазами-бусинками.

Куклы были одетые — кто в кожаных шортах, кто в фартуках, оборачивающих все тело. Филлис невольно засмеялась. Куклы смотрели не мигая. Гедда сказала:

— Это старушка, которая жила в башмаке. Только старушки нету, дети сами по себе.

Она схватила башмак и прижала его к сердцу. Другие девочки вздохнули с облегчением.

— Какая оригинальная игрушка, — произнесла Виолетта.

— Тебе нравится? — спросил герр Штерн у Гедды.

— Она немножко страшная. Я люблю все страшное.

Август Штейнинг объяснил, что Ансельм Штерн — кукольник. Он творит чудеса с перчаточными куклами и марионетками. Они надеются преподнести подарок королеве фей, сказал он, кланяясь в сторону Олив. Представить для гостей сказку о Золушке. Куклы для постановки были надежно запрятаны в тех самых черных лакированных ящичках, уже виденных присутствующими. И он надеется, что если пьеса понравится зрителям, то назавтра они посетят «Орешек», чтобы увидеть более искусную постановку.

— Я говорю «мы надеемся представить», — объяснил он, — потому что Ансельм учит меня тайнам марионеточного театра. Я буду учеником волшебника. Я буду управлять злыми сестрами Золушки.

Олив улыбнулась. Хамфри пригласил всех к столу:

— Сначала мы будем есть и пить. Потом — представление. Потом другая перемена блюд и танцы. У нас есть талантливые музыканты — Герант играет на флейте, Чарльз на скрипке, а Том управляет как может с жестяной дудочкой.

* * *

Они собрались на лужайке. Штейнинг только что вернулся из Лондона, где встречал Ансельма Штерна, и привез ошеломительные новости. Рутинное голосование по поводу ассигнований на армию — трат на стрелковое оружие — вдруг переросло в вотум недоверия. Лорд Розбери подал в отставку, и премьер-министром стал лорд Солсбери — временно, до осенних выборов.

Проспер Кейн сказал, что эти перемены могут пойти во вред Музею. Он все еще ждал осязаемого воплощения проектов сэра Астона Уэбба — нового фасада и внутреннего дворика.

— Музей превратился в склад стройматериалов, — пожаловался майор. — А все это в лучшем случае задержит работы.

Бэзил Уэллвуд не нашел среди собравшихся ни одного человека, с которым можно было бы обсудить влияние этих событий на фондовую биржу. Он подумал, что попал в необычное племя — сплошная мишуря и фальшивая позолота.

Вполголоса заговорил Лесли Скиннер. Насколько он помнит, имя лорда Розбери упоминалось в связи с прискорбными событиями, вызвавшими недавний судебный процесс. Ведь правда, ходили слухи, что прискорбная кончина старшего сына лорда Куинсберри – не лорда Альфреда Дугласа, а лорда Друмланрига – была вовсе не несчастной случайностью, но актом самоуничтожения, направленным, как говорили, на защиту доброго имени лорда Розбери? И по этому поводу задавались вопросы во время рассмотрения проигранного дела мистера Уайльда против лорда Куинсберри – иска за клевету? Скиннер говорил с таким видом, словно его интерес был чисто научным. На серьезном лице не отражалось ничего, кроме стремления к точным знаниям.

Виолетта Гримуит неодобрительно цокнула языком, согнала в кучку детей, которые стояли поблизости и слушали, и повела их есть фруктовый салат. Джулиан и Том не пошли. Джуллиан поманил Тома, и они встали так, чтобы все слышать, – по ту сторону складного стола, пробуя тарталетки по одной. Прошло меньше месяца с того дня, как Оскар Уайлд в третий раз предстал перед судом, – это был второй суд над ним за «нарушение общественных приличий», так как на первом судебном процессе присяжные не пришли к согласию. Все только об этом и говорили и никак не могли перестать. Джуллиан, как и его товарищи по школе, читал газетные отчеты. Он хотел послушать. Лесли Скиннер спросил у Августа Штейнинга:

– Я не ошибаюсь, вы присутствовали в суде?

– Да, – ответил Штейнинг. – Действительно так. Бедняга нуждался в дружественно настроенных зрителях. Я не мог не выступить свидетелем. Это было поистине трагическое падение. Некоторые аспекты его необъяснимы. Вы слыхали о предсказаниях гадалки?

Все сказали, что нет, хотя по крайней мере Хамфри прекрасно знал эту историю.

Штейнинг рассказал, вытягивая вперед в качестве иллюстрации сначала одну, потом другую длинную, бледную, изящную ладонь:

– Это было за ужином у Бланш Рузвельт. Хиромантка пряталась за ширмой, и гости по очереди просовывали туда руки, оставаясь неизвестными. Оказывается, левая ладонь показывает судьбу, начертанную в звездах, а правая – то, что ее владелец сделает с этой судьбой. Левая рука Оскара – у него ладони гораздо пухлее моих – сулила ему огромные, невероятные достижения, успех. Правая предвещала гибель, причем в точно указанный срок. Левая – рука короля, правая – рука короля, который отправит себя в изгнание. Оскар спросил о точной дате, получил ответ и немедленно покинул собрание. По-видимому, пророчество сбылось.

Скиннер спросил Штейнинга о его впечатлениях от суда.

– Он держался с достоинством и стоял, как агнец, предназначенный на заклание. Он позволил загнать себя в положение, когда вынужден был острить. Он храбро говорил о любви, не смеющей называть себя. Ему хлопали. Но это не было триумфом. А его теперешнее состояние ужасно. Его имя убрали с афиш театров, где идут его пьесы, – боюсь, недолго им еще идти. Говорят, тюрьма его убивает. Он хотел отнести к ней как к монашескому затвору, келье Просперо, но он спит на досках, у него нет ни книг, ни чернил, ни перьев, его заставляют крутить ступальное колесо. Он исхудал, плоть висит складками. Он не может спать.

Хамфри, свой человек в мире газетных сплетен, небрежно заметил, что лорд Розбери был болен – очень болен – несколько месяцев и внезапно оправился в конце мая. Но по-видимому, лишь для того, чтобы дождаться падения своего правительства. Хамфри переглянулся со Штейнингом и вдруг заметил Тома с Джуллианом:

– Нечего вам тут стоять и слушать про политику. Идите расставьте стулья для кукольного представления.

Том и Джуллиан побрали прочь по траве.

– Вот всегда они говорят, что нечего слушать, как раз когда хочешь послушать, – заметил Джуллиан.

– А ты хочешь? – спросил Том.

– Они думают, мы про это ничего не знаем. Они должны были бы понимать, что мы про все узнаем в школе, просто потому, что мы мальчики. Между уроками греческого и крикетом, греблей и рисованием. Хихиканье, тычки, записочки. Они должны бы знать, что мы знаем. Они ведь сами не могли не знать.

* * *

Том не знал. Он жил дома и учился дома, хотя Бэзил и Хамфри планировали следующей весной отправить его на приемные экзамены в школу Марло. Когда Хамфри заговорил о том, чтобы отправить Тома в новомодную, только что открытую школу Бедейлз, где мальчики купаются нагишом и выгребают навоз из-под скота, вмешался Бэзил. Он сказал, что поможет с платой за обучение. Том был очень способный, ему давались математика, языки. Латыни и греческому его учили анархисты, они любили учить и были рады лишнему источнику дохода. Математикой Том занимался с преподавателем. Осенью математики должно было прибавиться. Том ходил на уроки через поля и луга. Большую часть времени он жил привольно. Он не мог решить, хочется ли ему знать про то, о чем говорит Джулиан. Он не мог решить, хочется ли ему дружить с Джулианом. Том часто не мог понять, чего хочет, и при этом был общителен и дружелюбен; в результате у него было много приятелей и ни одного близкого друга. Ему было тринадцать, и он все еще был мальчиком, а Джулиану – пятнадцать, и он по временам мог быть серьезным молодым человеком.

Очки придавали Тому сходство с собой. Тонкие светлые волосы торчали во все стороны, словно напрашиваясь, чтобы их кто-нибудь взъерошил. Юную кожу, смуглого-золотую от жизни на открытом воздухе, еще не испортили прыщи. У Тома были глаза матери и длинные ресницы. Высокие и широкие скулы, нежный рот. Именно таких мальчиков, красивых, но не сознающих своей красоты, много обсуждали и старались добиться их благосклонности, как в подготовительной школе, где Джулиан учился сейчас, так и в Марло. Джулиан спросил себя, хорошеный ли Том, может ли он быть объектом страсти, и понял, что теоретически – несомненно, да. В школе хорошеные мальчики быстро становились настороженными и застенчивыми. Том держался небрежно, это создавало дистанцию и придавало ему шарм. Джулиан ждал наплыва любви и похоти, которые соответственно, как правило, не заставляли себя ждать. У него была неудобная привычка наблюдать за собой со стороны и задаваться вопросом – не фальшивые ли, не натужные ли его любовь и похоть. Он боялся стать изгоем-одиночкой и опасался, что именно это его и ждет. Сам он точно не был объектом влечения других мальчиков, насколько он знал, а он разбирался в таких вещах. Кроме того, ему докучали гнойные прыщи и оставленные ими кратеры. Он не знал – может быть, Том, кроме того, что хорошеный, еще и слишком простой, а потому скучный.

Том же оценивал Джулиана по своим привычным критериям. Можно ли его пригласить в «дом на дереве»? Станет ли он когда-нибудь человеком, которого можно туда пригласить? Пока еще трудно было сказать с уверенностью, но Том склонялся к тому мнению, что нельзя. Он произнес дружелюбную бессмыслицу:

– Взрослые всегда думают, что мы не знаем того, что они на нашем месте знали. Я думаю, им просто нужно помнить неправильно.

* * *

Зрители, словно куры, сбежались на кукольное представление. Они расселись полумесяцем в голубом дневном свете – на стульях, табуретах, на траве. Гризельда и Дороти сели рядом на вышитые табуреточки, охраняя Гризельдину юбку. Обе думали, что уже слишком взрослые для кукольных спектаклей.

Август Штейнинг выступил из-за будки, которую воздвигли они с герром Штерном. Будка была завешена занавесками цвета полночного неба в звездах-блестках. Он низко поклонился и провозгласил:

– Добро пожаловать на представление пьесы «*Aschenputtel*», или «Золушка»!

Он снова ушел за темную будку.

Прозвучала труба, забил барабан. Занавес распахнулся.

Сцену под медленный бой барабана пересекал траурный кортеж: одетые в черное плачальщики, несущие гроб, скорбный вдовец, чинная дочь в черном плаще, с затененным лицом. Гроб под мрачный барабанный бой опустили в яму. Из земли поднялся зеленый холмик, на нем воздвиглось надгробие. Отец и дочь обнялись.

Следующая сцена была в доме. Под торжественные звуки скрипки появились мачеха и сестры. Марионетки были тонкой работы, с изящными фарфоровыми лицами, с настоящими человеческими волосами, затейливо убранными – заплетенными или скрученными, в шуршащих юбках тонкой работы – алых, сиреневых, янтарных. Сестры были не уродки, а модные красавицы – в жемчужных ожерельях, с высокомерными личиками, презрительно искривленными ртами, нарисованными выщипанными бровями. Мать и дочери были похожи, как горошины в стручке, – сделаны по одной и той же форме. Золушка с длинными золотыми косами была одета в простое небесно-голубое платье. Мачеха и сестры повелительно указывали ей на стулья, которые следовало пртереть и переставить, на серебряные сундуки, которые надо было отнести на кухню, на очаг, который нужно было поднести, на огонь, за которым она должна была следить. Она двигалась, повинуясь их командам. Из камина вылетел клуб настоящего дыма.

Золушка вздрогнула, села на табурет, закрыла милое фарфоровое лицо тонкими фарфоровыми руками. Дрожь была совсем человеческая и пугала; маленькие ручки качались в такт и складывались вместе.

Пришел отец в дорожных сапогах и плаще. Он поцеловал руки дочерям и спросил, что им привезти в подарок.

Куклы в спектакле почти не говорили, но этот ритуальный вопрос был произнесен голосом Августа Штейнинга – высоким, легким, тонким, словно тростинка. Голос казался соразмерным миниатюрному артисту. Тон голоса поднялся, переходя в контранор. «Шелку и бархату», – сказала алая сестра. «Рубинов и жемчугу», – сказала сиреневая. «Веточку, что зацепит твою шляпу», – ответила Золушка.

Вслед за этим зрители увидели ее на коленях у зеленого холмика и серого камня – она разглаживала траву и сажала веточку. Медленно, чудесно из-за сцены стало подниматься дерево, гибкий ствол распустился ветвями, завесился дымкой листьев. Прилетели две белые голубки, порхающие, пикирующие, сшитые из перьев и шелка, с черными бисеринками вместо глаз, розовыми лапками и перламутровыми шейками. Защебетала скрипка. Голубки слетели на руки Золушке. Она легла и обняла могильный холмик, а голубки стали прихорашиваться и ворковать у нее в волосах.

Дороти захлопала глазами. Крохотные создания странно и страшно ожили. Дороти крепилась, стараясь не поддаваться иллюзии. Рядом Гризельда, завороженная, смотрела не отрываясь.

Мачеха велела Золушке выбирать чечевицу из золы. Голубки просеяли золу и ловко побросали зерна в кастрюлю – послышался дробный мелкий стук.

Сестры наряжались на бал – им помогала новая марионетка, послушная портниха с нарисованным ртом, полным булавок. У одной сестры были плюсовые банты. У другой – фиолетовые помпоны. Золушка сидела у очага, уронив голову на руки.

Рыдающая дочь стояла у могильного холмика – распущенные волосы падали массой золотых нитей – под танцующим деревом, которое замахало ветвями и, словно сходящий с небес ангел, снабдило Золушку роскошным золотым платьем, диадемой и парой золотых туфелек.

Бал происходил за кисейной занавеской – вихрем кружились фигуры, танцевальная музыка слышалась из музыкальной шкатулки: бренчавшие вальсы, скачущие польки. У принца были сверкающие белые волосы, связанные лентой, длинный темный фрак и панталоны до колен. Он танцевал с золотой девушки. Пробили часы. Она бежала. Дерево и птицы соткали из воздуха другое платье, серебряное, как луна. И третья – словно звездное небо, запутавшееся в острых ветках. Контртенор пропел:

Ты качнись, отряхнись, деревцо,
Одень меня в злато-серебро.

Явился принц с горшком смолы и коварно намазал ступени дворца. Он танцевал с Золушкой, пробили часы, она бежала, и золотой башмачок остался блестеть на смоле.

Финальные сцены были отвратительно кровавы. Одна высокомерная сестра, все с тем же гордым лицом, по наущению матери взяла кухонный тесак и – хрясь! – отрубила себе большой палец на ноге. «Когда станешь королевой, все равно пешком ходить тебе не придется», – сказала мать фальцетом. Жених и невеста поехали верхом – на лошади, сделанной из настоящей кожи, в красивой сбруе. Золотой башмачок переполнялся кровью. Многие дети потом долгие годы будут вспоминать, как капало красное из башмачка.

Дороти хлопнула глазами и запретила себе что-либо воображать.
Кружившиеся голубки возвзвали к принцу:

Погляди-ка, посмотри,
А башмак-то весь в крови,
Башмачок, как видно, тесный,
Плохо выбрал ты невесту!

Пришлось им поворачивать назад. Но мачеху это ничему не научило: она снова взяла тесак, хрясь! – и отлетела пятка у второй сестры, и та принялась всовывать фарфоровые пальчики в золотую скорлупку.

– Какой ужас, – сказала Гедда вслух. – И так уже все в крови.
Пропели голубки, и принц повернулся обратно.

Отец вызвал Золушку, которая в это время сидела в лохмотьях на золе. Золушка явилась, вдела тонкую ступню в башмачок, и принц схватил ее в объятия. Она выбежала и вбежала снова в сияющем звездном платье. Кукольные отец и дочь обнялись посреди сцены, ее фарфоровая щека лежала у него на плече, он гладил ее золотые волосы.

Задник сцены превратился в освещенный свечами хор. Свадебная процессия шла от алтаря. Голубки слетели на паперть, воркуя, и напали на злых сестер, колотя их белыми крыльшками по головам, – головные уборы слетели, лица исчезли за мельтешением крыльев и вновь появились уже с кровавыми ямами вместо глаз.

Гризельда сжала губы. Дороти сердито вздрогнула. Филлис заявила, что сказка совсем неправильная – ни феи-крестной, ни тыквы, ни стеклянной кареты. «И ни крыс и мышей, ни ящерицы!» – закричала Гедда, перевозбужденная и напуганная кровожадными голубками. «Еще!» – сказал Флориан: он ничего не понял, но его заворожил движущийся миниатюрный мир.

* * *

– Интересно, почему так отличается сюжет, – сказала Гризельда, обращаясь к Дороти.

Дороти ответила, что лично ей это не очень интересно, но если Гризельда интересуется такими вещами, то ей лучше спросить Тоби Юлгрива, он вечно распространяется насчет волшебных сказок.

Гризельда, похожая на потерянную фарфоровую пастушку в толпе разномастных феек, робко потянула Тоби за рукав. Она сказала, что ей очень хочется знать, почему сказка совсем другая.

– Дороти сказала, что вы можете объяснить.

Тоби уселся рядом на садовую скамью. Он сказал, что Гризельда привыкла к французской версии сказки, которую создал Шарль Перро. Он писал сказки специально для юных девиц и, как правило, вставлял туда фей-крестных. Штерн же использовал немецкую версию, из сказок братьев Гримм. Гризельда сказала, что она сама наполовину немка, но дома у них нет немецких волшебных сказок, а жаль. Тоби ответил, что это лишь две вариации из бесконечного числа: в каждой стране, от Финляндии и Шотландии до России, своя версия «Золушки», где повторяются одни детали и меняются другие – злая мачеха, жадные сестры, животные-помощники, волшебные платья, туфельки с кровью или без крови. Братья Гримм считали, что собираемые ими сказки – часть древних мифов и верований германского народа. Тоби заметил, что существуют и английские волшебные сказки. Миссис Олив Уэллвуд умело использует их в своих книгах.

Гризельда ответила, что тетины сказки ее пугают. И сказки Андерсена тоже, она от них плачет. А от этой сказки – нет. Неизвестно почему. Эта сказка должна бы пугать, столько в ней крови. Тоби объяснил, что эта сказка хранит воспоминания о других, давних временах, и согласился, что она не страшная.

– Она просто *такая*, – сказала Гризельда, пытаясь нашупать то, что ее заинтриговало, но безуспешно.

Тоби взглянул в серьезное тонкое лицо. Он пообещал прислать Гризельде книгу братьев Гримм, если родители разрешат. Гризельда сказала: она не думает, что ее родители против братьев Гримм. Они про них просто ничего не знают. Тоби захотелось погладить девочку по голове и сказать: «Не беспокойся», но он решил, что лучше не надо.

* * *

К этому времени все, и стар и млад, собрались на изобильный пикник. Людей, жизнь которых уже вошла в определенное русло, окружали, к счастью или к несчастью, те, у кого еще все было впереди, и, как часто бывает на таких сборищах, старшие начали спрашивать молодежь о ее устремлениях и планировать ее будущее.

Начали, естественно, со старших мальчиков. Проспер Кейн сказал, что у Джулиана хороший глаз на антиквариат, что он отличает подлинник от подделки. Он собрал коллекцию ценных вещей, найденных на блошиных рынках, – средневековая ложка, очень старый стаффордширский кубок с ангобной росписью. Джулиан небрежно согласился, что после Кембриджа действительно надеется устроиться на работу в музей или галерею. Серафита Фладд выразила надежду, что Герант пойдет в отца, художника, и будет творить прекрасные вещи. Герант заметил, что мать прекрасно знает: он на самом деле для этого не годится. Ему легко даются цифры. «Звездочет!» – вскричала Виолетта. Герант сказал, что хотел бы зарабатывать на комфортабельную жизнь. Он дружелюбно улыбнулся. Бэзил заметил, что в таком случае Геранту нужно идти в бизнес. «Как Уильям Моррис, который старался привить деловой подход в художественных мастерских в Лидде», – вставил Артур Доббин. Герант продолжал улыбаться и есть формованную ветчину в желе. Бэзил Уэллвуд пригласил Геранта войти вместе с Чарльзом в семейное дело Уэллвудов. Чарльз покраснел, издал полузадушенный звук и сказал, что это еще не решено. Этта Скиннер заметила: странно, что в такой прогрессивной компании никто до сих

пор не спросил девочек, кем они хотят быть. Она выразила надежду, что хотя бы некоторые из них стремятся чего-то достичь. В это же время Проспер Кейн спросил у Тома, чего он хочет добиться в жизни. Том понятия не имел. Он так и сказал.

– Я не хочу отсюда уезжать. Хочу все так же быть в лесах… на равнинах… вообще здесь…

– И остаться вечным мальчиком, – вставил Август Штейнинг, конечно театральным голосом.

Олив сказала, что Тому совершенно некуда торопиться.

Лесли Скиннер подхватил слова Этты. Он почти агрессивно обратился к Дороти:

– Вот вы, юная дама. Кем вы собираетесь стать?

– Я буду доктором, – ответила Дороти.

Виолетта сказала, что слышит об этом первый раз. И действительно, эта идея впервые оформилась в голове у Дороти, и высказалась она ее непроизвольно. Дети никогда не играли в докторов и сиделок. Но Дороти услышала собственные слова, и вдруг у нее в голове возникла картинка: взрослая Дороти, врач. Не милая и покладистая, но вооруженная скальпелем. Скиннер ответил, что это весьма похвальная цель, хотя путь к ней тяжел, и выразил надежду, что Дороти поступит в Юниверситет-колледж.

– Но, Йожиг, разве ты не хочешь замуж? – спросила Филлис, назвав сестру детским прозвищем, которое та не любила. – Я вот хочу. Я хочу, чтобы у меня была красивая свадьба и вот как раз такой дом, с розами в саду, и я буду печь хлеб, носить прекрасные платья и рожу семерых детей…

Филлис знала, что она хорошенькая. Ей все об этом говорили. Девиц Флэдд, Имогену и Помону, можно было назвать красивыми, но их красота была боязливой, неуверенной в себе – они не тянули на прерафаэлитских моделей. Они были грациозны и неловки в домотканых платьях и раскрашенных вручную эмалевых браслетах. У Имогены были полные груди, и она не носила поддерживающего нижнего белья. Она казалась пухленькой. Она сказала, что подумывает об изучении вышивки в Королевском колледже искусств. Помона сказала, что, может быть, тоже туда пойдет или останется в Дандженессе и будет делать изразцы. Гедда заявила, что хочет стать ведьмой. Виолетта хлопнула ее по руке.

Дошла очередь до Флоренции Кейн. У Флоренции была гувернантка, внушившая девочке, что она стала причиной смерти матери, а потому должна посвятить свою жизнь заботам об отце. Флоренция ничего не говорила отцу об этих наставлениях, и он о них понятия не имел, а кроме того, о нем неплохо заботились экономки и саперы. Он любил играть с обоими детьми в особенную игру: клал на поднос разные пуговицы, бусы, бутылочки, табакерки и прочее и просил детей запомнить все предметы, описать и опознать. Наблюдательность Флоренции радовала его так же, как и наблюдательность Джюлиана. Флоренция действительно напоминала утраченную Джюлию, но, когда Проспер думал об этом сходстве, ему вспоминались Ван-Эйковы ангелы, безмятежное спокойствие в потоке гофрированных волос.

– Ну так что же, Флоренция? – спросил он. – Чем ты хочешь заниматься?

– Я буду вести для тебя хозяйство, – ответила Флоренция, которой казалось, что это уже решено между ними.

– Надеюсь, что нет. Надеюсь, у тебя будет свой дом, а прежде того – образование. Я надеюсь, что Джюlian пойдет в Кембридж, и ты, надеюсь, тоже. Ньюэмский колледж дает хорошее образование. Надеюсь, ты решишь пойти туда.

Флоренция растерялась. Эта тема никогда не обсуждалась в семье, и вдруг среди многолюдного сборища делаются такие определенные заявления. Флоренция ничего не знала о Ньюэм-колледже – это название было для нее пустым звуком.

– Она не хочет быть старой девой, – заметил Джюlian. – Синим чулком.

Это рассердило Флоренцию. Почему бы мне и не пойти чему-нибудь поучиться, сказала она. Джулиан ведь собирается учиться. Вот и она тоже. Она споткнулась об эти слова и замолчала. Ей никак не приходило в голову, чему же такому она могла бы учиться.

Осталась Гризельда. Бэзил и Катарина не сомневались в ее будущем. Ее представят ко двору, она будет выезжать в свет и найдет себе хорошую партию. Катарина выразила надежду, что брак Гризельды будет таким же счастливым, как и у ее родителей.

Гризельда ритмично, не переставая, крутила плюсовый бант. Мать легонько шлепнула ее по пальцам. Гризельду потрясли – по-настоящему потрясли – слова Дороти о намерении стать врачом. Желания самой Гризельды не шли дальше освобождения от плюсовых бантов. Она жила богатой внутренней жизнью, которая состояла в чтении романов о женщинах, вынужденных играть роль молчаливых наблюдательниц, но в душе исполненных мятежа или усилием принуждающих себя к покорности: Джейн Эир, Элизабет Беннет, Фанни Прайс, Мэгги Талливер. Но все они на самом деле стремились к любви и браку. Ни одна из них не хотела ничего такого... такого разрушительного, как докторская карьера. Почему Дороти никогда об этом даже не заикалась? Гризельда любила Дороти так же, как та Гризельду. Она любила и «Жабью просеку» со страстью, в которой не осмеливалась признаться даже в «Жабьей просеке». Когда она приезжала сюда, ее немедленно освобождали от парадных одежд и разрешали вволю бегать по лесу. Здесь повсюду были книги. Гризельда вбила себе в светловолосую головку, что они с Дороти могут навсегда поселиться за городом и никогда больше не мучить себя корсетами, шляпными булавками, крючками и застежками. Больше Гризельда ни о чем не думала. И вдруг оказалось, что мир Дороти – черные саквояжи, кровь, больничные койки, горе, превратности, а Гризельды в этом мире нет. У Дороти обнаружилась тайна. Гризельда, побелев, сказала:

– Я хочу учиться. Как Флоренция. Я учу немецкий и французский. Я собираюсь изучать языки.

Катарина ввернула, что к Гризельде ходят самые лучшие учителя и она делает просто невероятные успехи.

Бэзил заметил, обращаясь к окружающим кустам, что образование несет женщинам только неудовлетворенность. Чем именно неудовлетворенность – он не объяснил.

Гризельда принялась крутить другой бант, и мать хлопнула ее по руке. Взгляд Хамфри Уэллвуда упал на Флориана.

– Флориан, а ты кем хочешь быть?

– Лисой, – ответил Флориан, нимало не колеблясь. – Лисой и жить в норе, в лесу.

5

Олив считала себя хорошей хозяйкой, а свои приемы – идеальными. Ее уверенность была заразительна, хотя и не очень обоснованна. Успех ее приемов был вызван магнетизмом ее присутствия, и где была она, там ее праздники были оживленными. Она любила быть в центре всего. Она любила обольщать, причем обольщать людей, которых ей было лестно принимать у себя: в данном случае деятелей культуры – Проспера Кейна и Августа Штейнинга, которые сейчас стояли с бокалами шампанского в руках, смеясь над шутками Олив, предметом которых была она сама. В организации праздника Олив полагалась на помощников – представить людей друг другу, накормить их, вовремя перетасовать сложившиеся группы. В какой-то мере это могла делать Виолетта – она обеспечивала физический уют, но мастерницей светской беседы не была. Хамфри обычно заводил беседу, развлекающую и мужчин и женщин, но сейчас он увяз в споре с братом, и это не сулило ничего хорошего. Дети мелькали и порхали у клумб с цветами, выскакивали из кустов и снова исчезали в кустах, а сумерки сгущались.

* * *

Василий Татаринов в это время исполнял свой коронный номер для Скиннеров и молодежи – Тома, Джюлиана, Филипа, Геранта, Флоренции и Чарльза. Этот коронный номер, входивший также в лондонские лекции Татаринова, представлял собой рассказ о лошади. Лошади интересовали англичан. Это был верный способ привлечь их внимание. Лошадь, о которой шла речь, – благородный вороной жеребец по кличке Варвар – сыграла важную роль в нескольких побегах из российских тюрем и из-под надзора российской охранки, в том числе в побеге самого Татаринова. Варвар поджидал князя Кропоткина, когда тот, отработанным за недели движением сбросив тяжелый зеленый халат заключенного, попросту выбежал из тюремной больницы и прыгнул в ожидавшую его карету с одним из заговорщиков, – другой заговорщик в это время отвлекал охранников, показывая им паразитов под микроскопом. Варвар же унес вдаль Сергея Михайловича Кравчинского, известного всем под кличкой Степняк и ныне ставшего любимчиком английских социалистов и анархистов. Он консультировал переводчиков русской классики; густая борода придавала ему сходство с дружелюбным медведем. Что же до Татаринова, он как раз вышел из квартиры с небольшим узелком самых нужных вещей, чтобы ускакать на Варваре, и на лестнице столкнулся с отрядом тайной полиции.

– Я замаскировался, – высоким голосом рассказывал Татаринов. – Я сказал им: «Мы опоздали, я послан по тому же делу, птичка у-у-у-улетела». И след простыл, так я выразился. Мы все вместе спустились по лестнице, я сел в карету, и мы шагом доехали до угла, и тут великий Варвар помчался прочь, как ветер. Он отвез меня в усадьбу Черкасова, где он жил, и я переоделся моряком и нанялся на судно, чтобы отработать проезд через Швецию и Голландию сюда, где я нашел убежище. Другим повезло меньше.

Он промокнул глаза носовым платком.

Английские социалисты не решались задавать слишком прямые вопросы. Три года назад в журнале «Новое обозрение» было опубликовано анонимное описание хладнокровного убийства некоего генерала Мезенцева. Его зарезали кухонным ножом, завернутым в газету: именно таким методом позже, не далее как в прошлом году, убили французского президента Карно. В статье намекалось, что убийца – Степняк. Его рассказы о пытках, заключении и казнях российских нигилистов и инакомыслящих глубоко трогали английских друзей. Но англичанам становилось не по себе, когда они представляли с ножом и газетой человека, с которым только что пили чай за столиком на открытом воздухе. Акты насилия, направленные на случайную цель, все больше пугали англичан. В прошлом году неизвестный человек по неизвестной причине

взорвал себя, разлетевшись на куски у Королевской обсерватории в Гринвиче. Взрослые помнили серию террористических актов десятилетней давности – в правительственные конторах, редакции газеты «Таймс», на станциях метро, на вокзалах, в Скотленд-Ярде, у колонны Нельсона, на Лондонском мосту, в палате общин, в самом Тауэре. Они понимали, что страдания ведут к мятежу. Они пытались понять смысл анонимных, не связанных друг с другом нападений на обычных людей. Они пытались постичь ход мыслей бомбиста. Это было тяжело.

– Скажите, мистер Татаринов, – спросила Этта Скиннер, квакерша и пацифистка, – а вы бы прибегли к взрывам – в том числе направленным против людей, – если бы это могло помочь вашему делу? Вот вы, вы лично, на такое способны?

– Мы должны быть готовы. Мы взорвем что угодно, если оно стоит на нашем пути. Мы должны, не сводя глаз с конечной цели, выбирать соответствующие средства. Не колеблясь.

Этта потуже запахнула шаль.

– А вы сами? Вы бы смогли хладнокровно убить кого-нибудь?

– Не знаю. Я никогда не сталкивался с такой необходимостью. Никто не знает, на что способен, пока его не призовут к делу.

К разговору присоединился Август Штейнинг, желающий представить Ансельма Штерна, принесшего приветствие от социалистов Германии, иные из которых были в тюрьме за *lèse-majesté*,⁴ как это часто случалось с немецкими социалистами, которых ненавидел кайзер.

* * *

Мальчики, естественно, спрашивали себя, могут ли они убить человека. Геранта взрасли на сказках о рыцарях с мечами и исландских воинах, но крови он себе не представлял. Чарльзу не доставляли удовольствия ни стрельба по дичи, ни охота на лис – большое разочарование для его отца. Мальчик склонялся к мысли, что убить не сможет. Филип не особенно вслушивался в разговор. Он смотрел на сочетания текстур травы, цветов, шелков и на стремительное изменение красок по мере того, как темнело небо. Красный выцветал и коричневел, синий словно выпадал кристаллами, углублялся. Том представлял себе глухой удар, тягу взрыва, летящие обломки камня и штукатурки, но не мог как следует представить раздавленную, горящую плоть. Он подумал про свой собственный череп, собственные ребра. Кости под кожей и сухожилиями. Безопасность не была гарантирована никому.

* * *

Бэзил и Хамфри Уэллвуды заспорили о биметаллизме и золотом стандарте. Они шли по траве, выдыхая гнев и риторику, решительно тыча пальцами в вечерний воздух. Бэзил был членом Ассоциации защиты золотого стандарта. Хамфри поддерживал Лигу биметаллизма.

На лето 1895 года пришелся бум «кафрского цирка». На бирже лихорадочно торговали акциями реальных и выдуманных золотых жил. Бэзил ужинал с «lordами Рэнда» и сделал состояние, как в золоте, так и в акциях. Хамфри во всеуслышание шутил, что шахта – это дырка в земле, принадлежащая лгуну. Он также заявлял публично, что финансовая пресса рекламирует или, наоборот, порочит месторождения в обмен на тайные *douceurs*.⁵ Бэзил подозревал, что именно Хамфри – автор статей, опубликованных под псевдонимами в юмористических журналах и высмеивающих Креза, Мидаса, золотого тельца.

⁴ Оскорбление величества (*фр.*).

⁵ Взятки (*фр.*).

Бэзил также подозревал, что Хамфри использует конфиденциальную информацию, полученную на службе в Английском банке, для нападок на это учреждение. В 1893 году прошли слухи, что Фрэнк Мэй, главный кассир банка, дал огромные несанкционированные займы своему сыну, который занимался спекуляциями на бирже. Хуже того, Фрэнк Мэй выдавал займы и себе самому. На протяжении 1893 и 1894 годов слухи вздувались и лопались, как пузыри. Мэй выдавал займы редактору финансового отдела «Таймс». Совет директоров банка состоял из джентльменов-любителей, не способных даже балансовый отчет составить, и не приглашал независимых аудиторов. Бэзилу почудился в некоторых разоблачительных статьях стиль Хамфри. Бэзил и сам был не очень доволен положением дел. Но он считал, что «Старая дама» должна приводить свои дела в порядок без посторонних глаз. То же, чем занимался Хамфри, если это действительно он, было предательством по отношению к банку и к самому Бэзилу, который его туда устроил. Более того, эти писания угрожали деятельности самого Бэзила и даже его репутации.

Братья подошли к беседующим как раз в тот момент, когда Татаринов выразил готовность взорвать что угодно. Бэзил вполголоса заметил, что для человека, занимающего ответственный пост, Хамфри водит довольно странные знакомства. Хамфри ответил ровным голосом, в котором слышалась злоба, что его убеждения – его личное дело.

– Отнюдь, если они оправдывают взрывы и выступления под чужой личиной. Ты то строишь из себя шута, то поощряешь убийство.

– А грести золото и платить рабочим гроши – это не убийство? Ты знаешь, как живут шахтеры на золотых рудниках? Или те бедняжки, что шили твою тонкую сорочку, окропляя ее своей кровью?

– И ты думаешь, что сильно им поможешь, разгуливая по Стрэнду во фраке и цилиндре и продавая листовки?

Хамфри начал произносить речь, которую обычно говорил на митингах. Он описал участь трех миллионов людей, которые кишат в зловонных диких трущобах, простирающихся за банком. Эти люди хворают от голода и холода, не имея постели, чтобы приклонить голову. Социал-демократы в своих всеми презираемых листовках заявляли: двадцать пять процентов рабочих зарабатывают так мало, что все равно живут в голоде и болезнях. Мистер Чарльз Бут оспорил эти цифры и провел свое собственное скрупулезное исследование бедности. И пересмотрел цифры – в сторону увеличения, Бэзил. Не двадцать пять, а тридцать процентов рабочих семей пытаются выжить на сумму менее двенадцати шиллингов в месяц.

– Подумай, – многозначительно сказал Хамфри, агрессивно тыча бокалом шампанского в сторону брата, – подумай, сколько вещей, которые лично ты считаешь для себя необходимыми, можно купить на двенадцать шиллингов.

У Бэзила язык не повернулся назвать крупные суммы, которые он жертвовал на благотворительность.

Хамфри продолжал свою речь. Он описал стремительное падение изувеченного рабочего, у которого раздавило руку или ногу или выбило глаз щепкой. Всего через несколько дней такой человек лишается дома, у него нет еды, его дети голодают, их одежда отправляется в заклад, они спят в работном доме или на улице, а жена рабочего продает себя ради куска хлеба. Мистер Бут и мистер Роунтри изучали и школы. Они обнаружили, что *в периоды относительного благополучия* только в лондонских школах пятьдесят пять тысяч детей столь слабы от голода, что не могут учиться.

– Пятьдесят пять тысяч – это очень много. А теперь представь себе их по отдельности, одного ребенка за другим...

Бэзил сказал, что он не на митинге и нечего его заводить. Он хотел бы найти практическое решение проблемы бедности. Но он не считает, что ее можно решить подстрекательством к революции или взрывами публичных зданий и убийством неповинных прохожих.

Хамфри сказал то, что уже много раз говорил на митингах:

– Однажды в Попларе я увидел двух оборванцев. Они шли впереди меня и постоянно наклонялись к мостовой, подбирая апельсиновые шкурки и яблочные огрызки, черенки винограда и крошки хлеба. Разгрызали сливовые косточки ради ядрышек. Выбирали отдельные непереваренные зерна овса из конского навоза. Вы можете себе это представить?

Флоренция Кейн, подносившая ко рту крабовую котлетку, уронила ее на траву.

Виолетта сказала:

– Право же, Хамфри, незачем расстраивать детей такими гадостями.

– В самом деле? – отозвался Хамфри. – А я надеюсь, что они это запомнят и вспомнят снова, когда будут выбирать дорогу в жизни.

* * *

Мальчики и девочки слушали. Том ощущал пересохшим языком вкус сливовых ядрышек и овса. Он знал, что будет плохо спать. Филип сморщил лоб и попятился. Эти жизни, которые вздымались на щит в качестве жупела, были его жизнью. Он был одним из многих бедняков. Он бросил мать, сделав сестер еще беднее. Его охватил глухой гнев – не на богача Бэзила, а на Хамфри, который превратил Филипа в предмет, присвоил его голод.

На Чарльза Уэллуда этот рассказ подействовал по-настоящему. Чарльз имел логический склад ума и получил христианское воспитание. В школьных часовнях и на воскресных службах капелланы и пасторы в незапятнанных стихарях повторяли наставление Христа: «Продай все, что имеешь, и раздай бедным». Чарльзу эти слова были совершенно ясны, а его наставники и родители не понимали их по своей глупости либо греховности. Основная весть христианства была уравнивающей, анархичной. Ее как будто никто не слышал. Кроме, кажется, дяди Хамфри, который, может быть, тоже внутренне корчился от стыда за окружающие его мелкие животные удовольствия. Чарльз подумал: надо как-нибудь спросить у Хамфри, что делать. Только чтобы родители не слышали. Мать Чарльза была доброй, богобоязненной лютеранкой, она жертвовала и время, и деньги, посещая больницы для бедных, организуя благотворительные базары и собирая одежду. Но ела она серебряными ложками с мейсенского фарфора. Эти противоречия были омерзительны.

Дороти сказала Гризельде:

– Давай уйдем и поглядим на фонарики в саду. Только осторожно, не испачкай свои красивые туфли.

– Дурацкие туфли, – отозвалась Гризельда, идя за кузиной.

Герант автоматически сочувствовал любому, кто не кричал. Его восхищало самообладание Бэзила. Геранту страшно нравился лоск Бэзилова жилета и сверкание запонок. В умении правильно одеваться была тайна. В деньгах была тайна. Геранту до смерти надоело все домотканое и самодельное. Он втайне, под прикрытием черных лакированных коробок с марионетками, перехватил бокал шампанского и нашел его восхитительным и сложным – холодные пузырьки лопаются на языке, запотевшее стекло, прозрачная золотая жидкость. Есть люди, которые пьют такое каждый день. Есть люди, которым не приходится спать под протекающей крышей в старом щелястом доме, продуваемом холодными ветрами, ради куч глины и воображаемых обливных горшков. Деньги – вот где свобода. Деньги – вот где красота. Деньги – это арабские жеребцы вместо тягловых лошадей. Деньги – это значит, что на тебя никто не кричит. (Не важно, что Хамфри кричал на Бэзила.) Деньги – это свобода. Деньги – это жизнь. Что-то такое, думал Герант. Братья никогда не ссорились бесповоротно, всегда в последний момент отступали от края пропасти. Они сцеплялись, потом ворчали друг на друга, потом меняли тему разговора. И никто не предполагал, что на этот раз будет по-иному, когда Хамфри, чтобы уколоть собеседника, назвал имя Барни Барнато.

Барнато, общительный, красноречивый уроженец Ист-Энда, сделал себе состояние на алмазных приисках Кимберли. Он был одним из основателей клуба на Ангел-Корт, рядом с Трограмортон-стрит, шутливо прозванного «Воровская кухня». Барнато переключился с алмазов на золото и сейчас как раз занимался основанием собственного банка. Он заражал лихорадочной жадностью, возбуждением, готовностью рисковать. Бэзил вложил деньги в предприятие Барнато и тревожился из-за этого. В сатирической газете «Домино» вышла статья под псевдонимом Мартовский Заяц. В ней «Воровская кухня» изображалась адом, где играют в азартные игры. Вполне узнаваемый Барнато фигурировал в роли демона-крупье, сгребавшего ставки в огненную яму. Кроме того, автор статьи сравнивал его с «Демасом (человеком благородного вида)», который «стоял невдалеке от дороги над холмом, называемым Выгода, и зазывал паломников: Эй! Свортите с пути, и я покажу вам нечто. Вот серебряный рудник и люди, ищащие в нем богатства. Придя сюда, вы немногими усилиями обретете безбедную жизнь. Христианин спросил Демаса: Разве не опасно это место? Разве не помешало оно многим совершить паломничество? Демас ответил: Не очень опасно, разве для неосторожных. Но при сих словах покраснел».

Мартовский Заяц очень элегантно обыграл этот предательский румянец. Хамфри неосторожно процитировал Беньяна в споре с Бэзилом. Это напомнило обоим про обвинения Мартовского Зайца. Но Хамфри продолжил цитировать «Путь паломника» – другие отрывки, которых не было в обличительной статье из «Домино».

– Барнато заманивает людей – они совершают безрассудства и теряют деньги. «Не знаю доподлинно, свалились ли они в пропасть, заглянув через край, или спустились вниз, чтобы копать, или же задохнулись на дне от испарений...» Так и погибают люди, подобно мистеру Иззыгод, – сказал Хамфри.

– Как ты хорошо помнишь текст, – заметил Бэзил.

– «Путь паломника» все знают с детства. Согласись, что он в этом случае уместен.

– Но не все его так ловко цитируют, тем более в клеветнических статьях, которые не смеют подписать своим именем.

Обвинение прозвучало. Хамфри не мог ни мяться, ни отрицать:

– Но ты же не будешь спорить, что это весомый аргумент? Что к этим предупреждениям нужно прислушаться?

– Нельзя днем делать одну работу, а ночью мутить грязь, чтобы пачкать ею своих коллег. И вредить своим родным, – добавил Бэзил.

Хамфри презрительно усмехнулся. Ему не очень-то хотелось усмехаться – он чувствовал, что сам стоит на краю ямы. Но поскольку они ссорились, он счел необходимым усмехнуться:

– Неужели ты был так глуп, что впутался или впутал своих родных в аферу Барнато?

– Ты сам не знаешь, что говоришь. Ты поставляешь злокозненные сплетни, которые могут принести настоящий вред...

– Я следую за своей совестью.

– Твоя совесть – болотный огонек, заводящий в трясину, – вполне находчиво сказал Бэзил, удачно подобрав метафору.

Вмешалась Виолетта:

– Давайте переменим тему. Давайте помиримся.

– Я больше не могу оставаться на этом сорвище, – заявил Бэзил. – Иди сюда, Катарина.

Мы уходим.

– Хорошо, – ответила Катарина. Она понимала, что трудно театрально повернуться и выйти, если твоя запасная одежда лежит в спальне хозяйки дома. Она приказала Чарльзу: – Позови Гризельду.

— Ей это не понравится, — *sotto voce*⁶ сказал Чарльз.

Дороти и Гризельду вернули из сада. Катарина сказала Гризельде, что они уезжают.

— Почему?

— Не важно. Мы едем домой. Надень плащ.

Гризельда стояла в бальном платье, белая, как соляной столп. Она не была по натуре строптивой. Но и покладистой она тоже не была. К глазам подступили слезы. Она пошатнулась. Дороти сказала:

— Мы так долго ждали этого праздника. У нас так давно не было костра, музыки, танцев. Как мы теперь будем праздновать без Гризельды и Чарльза? Какая музыка без Чарльза? Мы и постели для них приготовили...

— Но я в самом деле не могу здесь оставаться, — сказал Бэзил, обращаясь к жене.

— Может быть, оставим детей с кузенами? Они так ждали этого праздника...

— Как хочешь. Я просто не хочу здесь оставаться.

— Тогда поедем, — ответила Катарина, жестом подзывающая горничную и протягивая обе руки к Олив, которая подошла посмотреть, что творится. Катарина не считала, что должна извиняться за Бэзила, — по ее мнению, он поступал правильно, но она также не хотела портить праздник.

Карету подали, вещи погрузили. Никто не пришел помахать на прощание. Хамфри налил полный бокал, осушил залпом и налил снова. Его, словно электричеством, пронизывало ощущением, что все стоит на краю пропасти. Но сейчас надо было заниматься праздником. Хамфри велел музыкантам, чтобы начинали играть.

* * *

Дороти сказала Гризельде:

— Первым делом давай найдем тебе костюм, как у нас.

Гризельда все еще не оправилась от потрясения и была бледна. Виолетта взяла ее за руку и повела в детскую. Виолетта приказала Филипу и Филлис зажигать фонарики.

Гризельда стояла в детской, расстегивая пуговицы розового платья. Она шагнула из платья, и оно мягко опустилось на пол, словно мисс Бумби, которая вдруг превратилась в тумбу. Платье надо было повесить на плечики. Гризельда оставила его на полу.

Виолетта сказала, что у них есть платье рейнской девы — то, что надо. Гризельде оно очень пойдет.

Это было старое вечернее платье Олив: Виолетта его укоротила и ушила крепкими стежками, так что получился карнавальный костюм размером на девочку. Платье было из плиссированного шелка — зеленого, под цвет морской волны, с травянисто-зеленой нижней юбкой и золотым поясом. Виолетта подогнала платье по размеру. Гризельда подняла руки и распустила тугие кольца волос. Виолетта расчесала волосы, уложив их по плечам девочки. Считалось, что глаза у Гризельды серые или карие, но стоило одеть ее в зеленое платье, и они вдруг стали изумрудными.

— Какая ты красивая, — сказала Дороти.

Гризельда пошевелила плечами:

— Теперь я хоть двигаться могу.

⁶ Вполголоса (*um.*).

* * *

Когда она снова присоединилась к компании, все захлопали. Хамфри налил себе еще бокал шампанского и провозгласил тост за «Зеленые рукава». Виолетта сказала, что это костюм рейнской девы, и Ансельм Штерн вдруг запел мотив из увертюры к «Золоту Рейна» и склонился над рукой Гризельды. У него был чистый, высокий голос.

Начались танцы. Они проходили под аккомпанемент трио: Чарльз играл на скрипке, Герант на флейте, а Том попеременно – на маленьком барабане и жестяной дудке. Они сыграли «Зеленые рукава» для Гризельды и «Ах, мой милый Августин» для Августа Штейнинга и Ансельма Штерна. По зарождающейся традиции старшие танцевали с молодежью. Хамфри завертел Дороти, которая изо всех сил перебирала маленькими ножками в тупоносых туфлях, чтобы поспеть в такт, а Проспер Кейн спокойно кружился с Флоренцией. Олив танцевала с Джюлианом – он был точен в движениях и грациозен. Август Штейнинг сначала пригласил Имогену Фладд, а потом – ее статную мать. Хамфри отпустил запыхавшуюся Дороти по требованию Лесли Скиннера, который обращался с девочкой так осторожно, словно она была стеклянная, и забавно перепрыгивал через кочки. Ансельм Штерн танцевал с Гризельдой, мурлыча мелодию себе под нос и выделывая коленца, как его собственный принц-марионетка. Татариновы танцевали все вместе, крутясь, как карусель. Ансельм Штерн поклонился Дороти, но она попятилась и сказала, что больше не хочет танцевать.

Виолетта Гrimuit заставила Филипа танцевать с ней. Он, заливаясь краской в свете фонарей, переминался взад-вперед, глядя на свои ноги, пока Виолетта его не отпустила и не переключилась на Хамфри. Филип отступил в кусты, где обнаружил Дороти, – она в почти полной темноте сидела на скамье там, где в кустах было что-то вроде алькова. Оба искали одиночества, и оба чувствовали, что обязаны быть вежливыми. Дороти с фабианской прямотой сказала, что столько танцевать – не полезно для человека. Филип невнятно хрюкнул в знак согласия.

Они посидели в молчании. Дороти заметила:

– А тебя никто не спросил, кем ты хочешь быть.

– Может, оно и к лучшему.

– Я сказала, что хочу быть доктором. Пока я не сказала, я и сама этого не знала, вот что странно. Потому что я по правде хочу.

Дороти считала, что, если говоришь человеку правду искренне и честно, тем самым преподносишь ему своего рода подарок, выражаяешь уважение. Филип спросил:

– А женщины бывают докторами?

– Бывают. Я думаю, им трудно поступить на учебу. – Она помолчала. – Считается, что женщины не должны работать.

Филип хотел сказать: «Моя мать работает, чтоб не помереть с голоду». Он чувствовал, что это неуместно. И все же сказал:

– Моя мать работает, чтоб не помереть с голоду.

Дороти устремила внимание на него:

– А ты? Чего ты хочешь? Почему ты сбежал?

Филип был в отчаянии, и потому его слова прозвучали сердито:

– Я хотел что-то сделать. Настоящий горшок. – Он всегда видел этот горшок в единственном числе. – Наверно, это странно звучит – сбежал с гончарной фабрики, чтобы сделать горшок. Но я не мог иначе.

– Я думаю, ты найдешь путь, – серьезно сказала Дороти в темноте. – Надеюсь, мы сможем тебе помочь.

– Вы все очень добрые.

– Я не про то.

Воцарилось молчание. Каждый чувствовал невысказанные мысли другого – тревогу Дороти из-за неожиданно открывшихся устремлений и неизвестного будущего, к которому они вели; желание Филипа, не облечено в слова. Уже совсем стемнело. Они одновременно встали, вышли из кустов и вернулись к танцующим.

* * *

Август Штейнинг и Ансельм Штерн сменили музыкантов, чтобы те могли потанцевать. Штейнинг взял флейту, а Штерн скрипку. Они импровизировали на темы вальсов и баварских народных танцев. Герант храбро пригласил Флоренцию Кейн, и они сделали несколько неуверенных шагов, но тут Хамфри выхватил Флоренцию, закружил ее и сделал музыкантам знак, чтобы играли быстрее. Он держал Флоренцию очень близко к себе – сухая горячая ладонь сильно давила ей на поясницу. Флоренция прижималась лицом к его вышитой куртке и чувствовала, как он направляет ее тело, учит его колеблющимся, сложным ритмам, которые она неведомо для себя уже знала. Ноги вдруг затанцевали искусно, словно она была одной из маринонеток герра Штерна. Она перевела дух. Виолетта принялась аплодировать. Мимо, кружась, пролетела Олив – она танцевала с Томом, как они танцевали, когда он был еще совсем маленький, держа друг друга за вытянутые руки, вращаясь без устали, и ноги Тома стремительно неслись по внешней окружности, а Олив, улыбаясь, вертелась в центре. И когда они остановились, само небо, шипя, понеслось мимо них по кругу – планеты и созвездия, огромная Луна колесом, хлещущие ветки деревьев, размытое пламя всех фонарей.

* * *

Когда все натанцевались и запыхались, настал черед уже почти вошедшей в традицию живой картины из «Сна в летнюю ночь». Август Штейнинг принес ослиную голову, которую, по его словам, надевал сам Бирбом Три, и Тоби Юлгрив представил ткача Основу, который пробуждается от волшебного сна: он лежал на склоне, ведущем к кустарнику, а Дороти, Филлис и Флориан – Душистый Горошек, Мотылек и Горчичное Зернышко – порхали вокруг. Тоби был не в костюме, если не считать надетой на нем ослиной головы из папье-маше и конского волоса. Он положил голову на колени Олив. Его современные ноги во фланелевых брюках казались одновременно толстыми и беззащитными. Олив гладила маску. Тоби чувствовал биение сердца Олив, отдающееся где-то внизу ее тела. Он прижался потеснее, как ребенок к матери, пользуясь моментом по ходу пьесы, и с сожалением вспоминал былые представления, когда его мучили эротические покалывания и пульсации. Вот оно, заветное место – совсем близко, под юбкой. Тоби прижался к нему горячими щеками. Или не к нему, а к гладкой внутренней поверхности сапога с ушами, скрывающего голову. Тоби запел внутри, чувствуя, как в маске становится влажно: «Щегленок, зябли克, воробей, кукушка с песнею своей...» Олив чуть дрожала. Она гладила маску Тоби. Она гладила живую плоть его плеч. На них надвинулся Хамфри в плаще, выжал волшебный сок на глаза Олив, и она театрально отпрянула. Волшебство кончилось. Оберон одержал победу и забрал мальчика-подменыша.

Другой отрывок, который они всегда разыгрывали, был из конца пьесы – сцена благословления дома. Том встал у входа в кустарник и начал:

Вот голодный лев рычит,
И на месяц воет волк.

Он говорил легко, четко, ритмично. Все замерли.

Мы ж Гекате вслед летим,
И, как сны во тьме, мы таем;
Но пока везде чудим,
Дом счастливый облетаем.
Не мешай ничто покою,
Даже мышь не смей скрести.
Послан я вперед с метлою
Сор за двери весь смети.

Филипа захватали общая неподвижность. В его непривычной голове рычал лев и выл волк. Волшебство окутало людей и кусты, и Филип впервые увидел дом и сад глазами их создателей – с любовью. Любовь была одновременно ручной и неукротимой. Магия мерцала в волшебном кругу под защитой изгороди и стен. Бэзил и Олив, царь и царица волшебной страны, произносили золотые речи – призывали благословение на мужей и жен, на детей родившихся и неродившихся. (Олив как раз заподозрила, что опять беременна.) Остальные смотрели, довольные.

* * *

Прибежала Гедда в костюме ведьмы. Она зловеще и радостно кричала: «Пожар! Пожар!» Зрители устремились назад, по направлению к газону.

Фонарик работы Филипа – с нарисованными языками пламени и элегантными, зловещими силуэтами – получил почетное место на цветочном бордюре: его поставили на терракотовую колонну с неровным верхом. Догоревшая свеча вспыхнула в последний раз и подожгла сам фонарик. Он свалился на бордюр, засаженный папоротниками, орляками, фенхелем и маками – и большими шелковистыми декоративными, и дикими самосевками. Это был очень английский кусок полудикой природы, а в центре его располагалась огромная, совершенно инопланетного вида кочка пампасной травы: свежей вперемешку с прошлогодней, высохшей, которая яростно, с треском, запылала. Маки съеживались. Пахло жареным фенхелем. На фоне занавеса тьмы в воздух взлетали искры и крохотные невесомые частицы сгоревших листьев и семян. Виолетта сказала, что сходит за водой, но Олив ответила: «Не надо, огонь не пойдет дальше, это волшебный костер Летней ночи, такие костры жгли на равнинах первобытные люди и средневековые ведьмы. Когда он догорит, мы будем прыгать через угли. Это настоящий праздничный костер Летней ночи, благоприятный знак. Влюбленные пары должны прыгать через костер вместе. А сгоревшие ветви или стебли надо сохранить. Тоби Юлгриф нам все расскажет про праздничные костры».

Они стояли вокруг, смотря, как занимается трава, и слушая шипение сока в стеблях. Олив беспечно улыбалась Просперу Кейну, Августу Штейнингу, Лесли Скиннеру, Татаринову. «Смотри, – сказала она Тоби, – даже папоротниково семя есть».

Тоби объяснил, что семена у папоротника крохотные, едва заметные. Папоротниково семя, собранное в Летнюю ночь, делает человека невидимым. Семена собирают раздвоенным ореховым прутиком на оловянную тарелку. Говорят, что оно – цвета огня, и специалисты по фольклору думают, что это семена жгучего солнечного света. Есть немецкая сказка про охотника, который выстрелил в солнце в день летнего солнцестояния, собрал три горячие капли крови на белый платок, и они превратились в папоротниково семя. Говорят, если подбросить его в воздух, оно поможет найти клад. Это одно из самых сильных волшебных зелий.

Огонь почти догорел, лишь угли светились среди плавающего в воздухе серого пепла от листьев.

– Надо прыгать, – чарующе, маняще сказала Олив.

Она взяла Тома за руку, потащила, разбежалась и прыгнула вместе с ним, хохоча, стряхивая с юбок умирающие искры. Хамфри взял за руку Гризельду, и они прыгнули вместе. Скоро уже все начали разбегаться и прыгать – итонцы и анархисты, высокий драматург схватил маленькую Гедду за талию и прыгнул вместе с ней.

Кто-то запел. Это был Ансельм Штерн. Он стоял у куста бузины и пел ясным, тонким голосом арию Логе:

*Die goldene Äpfel,
In ihrem Garten...⁷*

Это было волшебство. Все согласились, что это было волшебство.

* * *

Уэллвуды раздевались в спальне при свете лампы. Меж раздвинутых занавесок виднелись луна и звездное небо. Муж и жена привычно препирались. Хамфри стоял в вельветовых бриджах и вышитой куртке, облокотившись на кроватный столбик, и глядел на жену, которая стояла уже без крыльев и одежд, в корсете и панталонах, но все еще с розами и жимолостью в волосах.

– Я видел, как ты обольщала этих мужчин. Ты просто ничего не можешь с собой поделать. Немца, профессора, драматурга, этого солдафона из Музея. Ты так смотрела на них на всех...

– В этом нет ничего такого. А вот что действительно не стоило делать, так это говорить маленьким девочкам вроде Гризельды, что зеленые платья носили проститутки, потому что их вечно валяли по траве.

– Я такое говорил? Значит, я правда перебрал. Думаю, Гризельда все равно не знает, что такое проститутка. Она ведь не живет среди реформаторов.

– Дороти, во всяком случае, знает, не может не знать. Так что, я думаю, и Гризельда тоже знает.

– Этта Скиннер завербует их раздавать листовки о борьбе за права проституток.

– Ты и правда слишком много выпил.

Она выбирала из волос насаженные на проволоку увядшие цветы, один за другим. Хамфри перешагнул через сброшенную одежду и, голый, слегка возбужденный, потянулся за ночной рубашкой. Рубашка была белая батистовая, Виолетта расшила ее камышами и каллами. Она и ночной колпак ему сделала, с золотыми хризантемами. Хамфри его никогда не надевал, но повесил на столбик кровати, и, может быть, Виолетта думала, что он его все-таки носит.

– Я слишком много выпил из-за Бэзила. Он теперь знает. Мне кажется, он всегда знал, но теперь узнали все. Он считает, что мои статьи бесчестны.

– Ты поступал так, как считал правильным, – легко произнесла Олив.

– Не знаю. Я делал то, что подсказывала совесть. Ты знаешь, теперь я думаю, что мне надо уволиться из банка. И по благородным, и по неблагородным причинам. Мне кажется, иначе нельзя. Не знаю, как мы будем платить за школу Тома.

– А что же ты будешь делать? – сказала Олив, на мгновение отрываясь от расстегивания пуговиц.

– Писать. Работать первом. Статьи для журналов. И книги. Я могу что-то изменить в мире.

Олив вернулась к пуговицам. Расстегнутое белье упало на пол, и она переступила через него.

⁷ «Золотые яблоки в ее саду...» (нем.)

– Я буду писать больше обычного. Я сейчас неплохо справляюсь. Буду работать больше.

– Тебе нравится эта идея. Женщина-добытчица.

– Да, нравится. Думаю, нам обоим нравится.

– У нас с тобой вышел хороший союз. К счастью.

Олив надела ночную рубашку, белую, не украшенную вышивкой Виолетты.

– Может быть, слишком хороший. Сейчас не ко времени, но я должна тебе сказать. Скоро нам придется кормить еще один разинутый клювик. Я почти уверена.

Хамфри задрал бороду, рассмеялся и обнял жену. Уперся в нее твердым под камышами ночной рубашки.

– Умница-девочка. Умник Хамфри. Как у нас с тобой все хорошо получается, правда же, кремовая ты моя Олив?

– Не заносись. Ты же знаешь, это может быть опасно. И новые расходы. Мне будет труднее зарабатывать.

– У нас хватит любви еще на одного ребенка. Мы что-нибудь придумаем, мы всегда что-нибудь придумывали.

Он, улыбаясь, гладил ее бока.

– Надо полагать, ты так доволен, потому что до сих пор пьян. Как мы справимся?

– Виолетта все возьмет на себя. Ты будешь только отдыхать и писать. А я в один прекрасный день изменю мир.

* * *

Филип облокотился на подоконник в своей комнате, залитой лунным светом, и наблюдал за скольжением теней на стекле – грациозных, занятых чем-то своим, непонятным. Он их не узнавал. Он был снаружи и заглядывал внутрь. Его это вполне устраивало. Он дождался, пока они не погасят лампу, и постоял какое-то время неподвижно, глядя на луну. Потом взял полотенце, лег и снова доставил себе удовольствие, вздрагивая от мимолетного восторга одиночества. Потом обмяк и уплыл в сон.

6

Коттедж «Орешек», как и многие другие вещи в Англии, на первый взгляд казался чистой причудой, но на деле скрывал в себе нечто большее. Это был перестроенный домик рабочего, крытый свежей соломой, с окошечками, утопленными в толстых белых стенах. В садике перед домом вдоль мощенной каменными плитками дорожки протянулись цветочные бордюры – штокрозы, дельфиниумы, наперстянки, гвоздики, флоксы, васильки, окруженные дымкой незабудок-самосевов. Парадная дверь открывалась прямо в гостиную, где стены были покрыты, как выражался Уильям Моррис, «честной побелкой, на которой так приятно играют солнечный свет и тени». Чтобы сделать гостиную, снесли разделяющую две комнаты стену. В одном конце был альков-кабинет, оклеенный моррисовскими обоями с розовой и золотой жимолостью; там стоял простой стол. Мебели было мало: тяжелый обеденный стол, несколько тяжелых средневекового вида стульев, современное «квадратное» пианино. С этой простотой до некоторой степени контрастировало изобилие керамики – на каминной полке, в очаге, на подоконнике, – которая казалась неуместной в таком интерьере. Здесь были безумные чашки с улыбающимися лицами, отличный образец итальянской майолики, золотой с голубым, украшенный арабесками и менадами, внушительная овальная декоративная тарелка – «минтон» в севрском стиле, яростного ярко-розового, почти малинового цвета, с Пьеро и Коломбино в рамке из роз и клематиса. В углу стоял предмет четырех футов высотой, повергший Филипа в изумление и немедленно опознанный Продлером Кейном как вариант «Прометеевой вазы», которую демонстрировала фабрика «Минтон» на Парижской выставке 1867 года. Прометей из глины телесного цвета распростерся на сверкающей бирюзовой выпуклости крышки. Огромный зелено-золотой орел сидел у него на бедре и животе, разрывая клювом алую печень. Высокие ручки были телами светлобородых титанов в кольчугах. Роспись самой вазы была исполнена ярости – там вихрем неслись конные охотники в тюрбанах и их гончие, там пронзали копьем загнанного гиппопотама, который широко разевал нарисованную пасть, показывая клыки, коренные зубы, коралловый язык и горло. У подножия вазы клубились змеи, переплетаясь с листьями аканфа. Филип во все глаза смотрел на вазу. Он даже приблизительно не представлял, как сделаны эти глазури, не говоря уже о том, чтобы понять сюжет.

На обеденном столе, сдвинутом, чтобы освободить место для зрителей, уже стояла будка кукольного театра. Это был большой черный лаковый ящик, занавешенный черным бархатом, с фальшивыми ониксовыми колоннами и позолоченным архитравом. Сам стол был закрыт бархатным покровом, а под ним были сложены коробки с марионетками.

Август Штейнинг предложил гостям чай в саду. Его экономка миссис Беттс подала сэндвичи и высокий металлический сосуд с кипятком на круглый каменный столик, стоявший на траве. Сад был окружен деревьями – гречий орех, ясень, кусты боярышника и терна – и обнесен изгородью; калитка вела на природу, в небольшой лесок на склоне холма, где, как сказал Штейнинг, он припрятал сюрпризы для детей, которым будет скучен взрослый разговор.

* * *

На Штерне были темные узкие брюки и не очень английская куртка цвета сажи, с поясом и двумя нагрудными карманами. Штерн стоял с чайной чашкой в руке («минтон» в дрезденском стиле, узор из анютиных глазок) и беседовал по-немецки с Татариновым. По-английски Штерн запинался, но, перейдя на немецкий, начинал говорить стремительно и страстно. Татаринов, одетый в рабочий халат и намного превосходивший ростом собеседника, склонялся к нему с настойчивой тихой речью. У англичан создалось впечатление, что это заговорщики делятся тайнами, – возможно, потому, что из всей беседы им удавалось разобрать только

имена недавно убитого французского президента Карно и гильотинированного анархиста Вайяна, бросившего самодельную бомбу из динамита и гвоздей во французской палате депутатов. Однако через несколько секунд Татаринов уверенно, со знанием дела присоединился к разговору Олив Уэллвуд и Проспера Кейна о королевских сокровищах. Он поделился меткими наблюдениями о золотых и серебряных ценных предметах из собрания русского царя. Этта Скиннер, одетая в бесформенный, развевающийся яблочно-зеленый балахон, осторожно взяла свою чашку и неодобрительно уставилась на блюдо с сэндвичами: там в ярко-розовом овале на цветочной лужайке резвились три грации. Август Штейнинг улыбнулся Этте. Он сказал: она, наверное, считает, что ему следовало бы есть с глиняных тарелок со вмятинами от пальцев гончара. Разве не к этому призывал Уильям Моррис? Этта ответила, что ее предпочтение действительно таково, но каждый решает сам за себя. Август заявил, что ему нравятся абсурдные и хрупкие вещи и что искусство расписчика и позолотчика так же имеет право на существование, как искусство формовщика. Филип стоял с мрачным видом, слушая спор и думая о матери. Проспер Кейн сказал, что испытывает слабость к «минтону», – фабрика «Минтон» сделала для Музея несколько поразительных вещей, в том числе керамические колонны. Олив Уэллвуд рассказала, как еще девочкой сочиняла сказки про людей, нарисованных на фарфоровых чашках.

– У нас были драгоценные чашки, только для воскресений и праздников, с девочками в развевающихся розовых юбках – они карабкались по скалистым уступам и цеплялись за кусты с почти выдранными корнями. Я всем девочкам придумала имена и сочиняла истории про то, как они оказались в горах, на скалах и как их спасли орлы, как раз когда Северный Ветер собирался сдусть их в пропасть…

Когда Олив говорила, вокруг воцарялось наэлектризованное молчание. Она была прелестна в чайном платье из кремового набивного батиста с рисунком из полевых цветов – васильков, маков, маргариток. На ней была соломенная шляпа с алой лентой. Когда Олив поняла, что все ее слушают, она засмеялась и сказала:

– Я этим до сих пор увлекаюсь. Люди на тарелках подносят ко рту стаканы, которые никогда не опустеют, срывают розы, которые им никогда не вплести в волосы. Я представляю себе, как они сбегают из этого плоского круга. У меня была идея сюжета о двумерных созданиях, которые пытаются найти свое место в трехмерном мире. А потом трехмерные создания точно так же попытаются войти в мир, где измерений больше. Уловить очертания других форм жизни…

Ансельм Штерн сказал Татаринову что-то насчет *Porzellan-socialismus*.⁸

– А, да, – отозвался Татаринов. – Мм… определение утопического социализма по Достоевскому, мм… красивый и хрупкий пейзаж на чайной чашке. Фарфоровый социализм.

– Может быть, это выражает нашу суть, – горестно сказал Хамфри. – Фарфоровые социалисты. Или, в случае Этты, глиняные социалисты. Когда будет установлено царство справедливости, наши представления о красоте станут совсем другими. Я согласен с Моррисом, северский фарфор – это отвратительно. Август, вы меня поражаете.

– Человеку свойственно быть легкомысленным, – ответил Август. – Как я это вижу, человеку свойственно также стремиться к мастерству, не имеющему практического смысла. Надеюсь, вы не собираетесь принимать законы, которые запретят мне владеть северскими сосудами.

Хамфри нахмурился:

– Будем надеяться, что в обществе, которое мы построим, никому не придет в голову хотеть такой бессмыслицы.

Этта яростно закивала. Лесли Скиннер сказал, что новое общество произведет новые узоры, немыслимые сегодня. Их будут создавать мастера, а не наемные рабы. Хамфри огля-

⁸ Фарфоровый социализм (нем.).

делся в поисках Филипа, но тот незаметно ускользнул, чтобы вернуться и еще раз посмотреть на вазу с Прометеем.

* * *

Почти все дети побрали в лес, как им было велено. Там они обнаружили удивительных тварей, притаившихся в ложбинах или взобравшихся на ветви: бородавчатых жаб, чешуйчатых ящериц, сову со слипшимися глиняными перьями и желтыми стеклянными глазами, пару злобных ворон. К шеям и когтям их были привязаны блестящие алые коробочки с сахарными цветами и тянучками из жженого сахара. Дети бродили вдоль быстрого ручейка, по деревянному мостику, грызя сладости. Гедда принесла башмак с человечками, с которым не желала расставаться.

Филип не пошел с другими. Он хотел остаться в доме и хорошенько рассмотреть вазу, но вышел, чтобы получить чай с тортом, и обнаружил нечто столь же интересное. Это был фонтан; его, как и двуликие кувшины и кружки в доме, и причудливых тварей в лесу, сделали братья Мартин – их работы импонировали театральному воображению Августа Штейнинга. Фонтан состоял из нескольких толстых блюд, покрытых грязно-зеленой и бурой глазурью, а местами – ярко-изумрудной керамической ряской. Центральную колонну фонтана образовали сплетенные корни, змеи, черви и ползучий плющ. Блюда были обитаемые: на них сидели, за них цеплялись жабы, тритоны и рыбы с ногами.

За колонной, сливаясь с ней, стоял Пан – бородатый, с шишковатыми рогами, он щурился и ухмылялся, а вода низвергалась по гладкому торсу на косматую шерсть бедер и раздвоенные копыта. Пан потрясал цевницей, через трубы которой медленно сочилась вода и зеленые нити водорослей.

Филип притворился, что фонтан его очень занимает, а потом и вправду погрузился в созерцание.

Кто-то положил ему руку на плечо.

– Мне сказали, что ты специалист по горшкам.

Это был Артур Доббин, приехавший с дамами Фладд. Филип пожал плечами и помотал головой. Он пробормотал, что просто приехал из Пяти городов, вот и все.

– А что ты думаешь об этом чудовищном творении?

Филип сказал, что это очень хитро сделано. Интересно. И, надо полагать, непросто. Доббин прочитал ему небольшую лекцию о братьях Мартин и их странных творениях. Он сказал, что до него дошел слух: Филип хочет делать горшки. Это правда? Потому он и интересуется фонтаном?

Филип осторожно ответил, что действительно хочет делать горшки.

– Только не совсем такие. Это... живое, очень хитро сделанное... но я хочу... я хочу...

Он вспомнил, что Доббин связан с водяным кувшином из «Жабьей просеки».

– Я работаю с горшечником, – сообщил Доббин. – С Бенедиктом Фладдом, мужем вон той дамы. Я пытаюсь ему помочь, но он считает меня неуклюжим. Я верю в будущее прикладных искусств, но мой талант, он... не к гончарному делу. Мистер Фладд не очень терпелив. Я считаю, что он гений. Я хочу создать сообщество художников – это мечта всей моей жизни, и мне было бы проще, если бы я умел работать руками.

В его тоне странно мешались бодрый энтузиазм и беспространное уныние. Он сжал плечо Филипа. Тот сказал:

– Я хотел бы посмотреть на работу мистера Фладда. Я видел кувшин... там, в усадьбе... я видел... я сроду не видел ничего лучше...

Доббин снова сжал его плечо и расслабился:

– Куда ты пойдешь отсюда?

– Не знаю. Они обещали подумать.
– Может быть, я смогу тебе помочь.

* * *

Август Штейнинг вышел из дома с большим барабаном, выбил дробь и провозгласил чистым, высоким голосом, что представление сейчас начнется.

Когда все вошли и уселись, он встал перед занавешенной будкой театра и обратился к зрителям.

Сейчас они увидят пьесу по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек», представленную марионетками Штерна из Мюнхена. Август выразил желание сказать несколько слов о марионетках. Многим из присутствующих, возможно, известны Панч и Джуди. У него в коллекции тоже есть Панч и Джуди. Они и их немецкий кузен Касперль – честные артисты с древними традициями. Они – перчаточные куклы, а перчаточные куклы – от земли, сама их природа – земная. Они поднимаются снизу, как подземные жители, гномы и кобольды, они молотят друг друга дубинками и возвращаются обратно в глубины – театральных кулис или нашего сознания. Марионетки же, в противовес перчаточным куклам, – создания воздушные, как эльфы, как сильфиды, которые едва касаются земли. Они танцуют свой геометрически совершенный танец в мире более насыщенном, не таком юном и неуклюжем, как наш. Генрих фон Клейст в своей загадочной статье, будоражащей мысль, делает смелое утверждение: марионетки исполняют роли более совершенным образом, чем живые актеры. Они демонстрируют законы движения; их конечности поднимаются и падают по идеальной дуге, согласно законам физики. Марионеткам, в отличие от живых актеров, незачем пленять зрителей или вызывать у них жалость. Клейст заходит настолько далеко, что утверждает, будто бы марионетка и Бог представляют собой две точки на окружности. Самые ранние марионетки – театр теней, – по сути, и были богами, символизировали присутствие богов.

– В Амстердаме я нашел несколько образчиков восточных кукол из театра теней, ваянг-голек. Ими управляли специально обученные жрецы. Мы с герром Штерном изучили эти удивительные создания и внесли некоторые усовершенствования в его немецкие фигуры.

Он поклонился. Светлые волосы упали на лицо. Он шагнул за ширму.

* * *

Иллюзия – непростая вещь, и толпа зрителей – непростая вещь. И ту и другую нужно собирать из непослушных частей в однородное, единое целое. Мир внутри ящика, сделанный из шелка, атласа, фарфоровых отливок, проволоки, петель, раскрашенных задников, движущихся прожекторов и музыкальных нот, должен ожить, обзавестись собственными законами движения, собственными правилами, по которым развивается сюжет. А зрители с круглыми жадными глазами, рассеянные и надменные, поглощенные мыслями о чем-то другом, ерзающие, зажатые, должны слиться воедино, как косяк пучеглазых рыб должен, мелькая плавниками, слиться воедино, бросаться туда или сюда, повинувшись голоду, страху или радости. Посыпалась флейта Августа. Кто-то был готов слушать, кто-то нет. Открылся занавес, и зрители увидели детскую спальню. Мальчик сидел среди подушек. Няня в практичном сером платье суетилась вокруг него, и ее тень нависала над ним на белой стене.

Она рассказывала маленькому Наташаэлю про Песочного человека.

– Он крадет глаза у детей, которые себя плохо ведут, – безмятежно говорила она, – и скормливает своим собственным детям, которые живут в гнезде на луне и разевают рты, как совята.

На лестнице послышались тяжелые медленные шаги. На задник падала тень перил в том месте, где они изгибаются под углом, и над перилами вдруг появилась и стала медленно подниматься тень головы и плеч старика, крючконосого, горбатого, с крючковатыми пальцами, топ-топ, раскачиваются полы сюртука.

Марионетка-мальчик натянул одеяло на голову, и свет погас.

В следующей сцене отец Натаанаэля, алхимик, и его ужасный гость доктор Коппелиус склонились над котлом, в котором проводили какой-то секретный опыт. Сцена наполнилась мерцающими отблесками огня. Натаанаэль спрятался, его нашли. Коппелиус замахал палкой черного дерева. Отец упал замертво в огонь. Поднялся дым.

Дальнейшие сцены были повеселее. Выросший Натаанаэль, его друг Лотарь и сестра Лотаря Клара встретились в саду и обнялись. У Клары были волосы как золотые нити и голубое шелковое платье. Сад, пронизанный голубым светом, был полон роз и лилий. Друзья танцевали под музыку флейты.

Потом показали Натаанаэля в его кабинете в Риме – в окружении крохотных книг, глобуса, астролябии, одушевленных скелетов крохотных тварей, которые принимались яростно танцевать, когда в комнате никого не было. Змеи, крысы, ящерицы, кошки. При взгляде на них зрители испытывали то же удовольствие, какое бывает, когда разглядываешь миниатюру, – крохотные, идеально верные слепки, вызывающие необъяснимый восторг. В этом приятном месте Натаанаэля навестил переодетый марионетка-Коппелиус – в плаще, широкополой шляпе, с козырьком над глазами. В руках у Коппелиуса был лоток уличного торговца, полный блестящих стеклянных глаз и крохотных трубочек – подзорных труб. Натаанаэль купил подзорную трубу. Когда он заглядывал в нее, сжимая в белом фарфоровом кулаке и поднося к глазу, появлялся круг розового света и двигался по мере того, как Натаанаэль поворачивал голову.

А потом на одной стороне сцены появилась женская фигура в окне, в круге розового света, а на другой – Натаанаэль, вглядывающийся в подзорную трубу. Девушка была в простом белом платье, которое розовый свет наполнил розовыми вспышками, окрасив складки в кроваво-красный цвет. Она двигалась мало – подняла ручку к спокойному круглому ротику, прикрывая зевок, и скромно опустила голову.

Затем последовала сцена бала, имевшая огромный успех. Заиграла невидимая музикальная шкатулка. Пары вихрем пролетали по сцене, скользя в вальсе, выкидывая коленца в польке и хорнпайпе, приседая и кланяясь. Натаанаэль танцевал с Олимпией. Кукольник искуснейшим образом передавал и порывистые движения Натаанаэля, и механическую ровную поступь его возлюбленной. Мужская марионетка оживленно суетилась вокруг женской, сопровождая, поддерживающая, допрашивая, склоняясь над ее рукой, дрожа от избытка чувств. Она же двигалась, повторяя серию одних и тех же не слишком размашистых движений, грациозно склонив голову, поднимая изящную руку к круглому розовому ротику.

Занавес закрылся и снова открылся. Натаанаэль ворвался в комнату, где князь – отец Олимпии – ссорился с доктором Коппелиусом. Они угрожали друг другу тростями черного дерева. Коппелиус подпрыгивал, как разгневанная лягушка. Они бросились на Олимпию, которая лежала неподвижно, откинувшись на спинку кресла. Один схватил девушку за шею, другой за ноги. Каждый тянул в свою сторону. Олимпия дрожала, но не боролась: кукольник очень хорошо передавал ее почти полную неподвижность. Вдруг случилось ужасное: она разорвалась на куски у них в руках, и куски разлетелись по всей сцене – голова с развевающимися волосами взмыла вверх, тело, ощетинившись пружинами, отскочило вбок. Князь и доктор угрожающе махали друг на друга рукой и ногой. Гедда захлопала в ладоши, а младенец-анархист заревел, и его пришлось успокаивать. Натаанаэль от горя лишился чувств.

Снова появились Лотарь и Клара, подняли его, привели в сознание. Они пошли гулять вокруг колокольни, у крепостных стен. Натаанаэль обнимал Клару за голубую талию. А потом тень Натаанаэля поднялась, огромная в свете рампы на меркнущем синем небе, оторвалась от

своего хозяина и угрожающе нависла над ним. Он повернулся к ней лицом и начал бой с тенью – качаясь, двигаясь рывками, словно повешенный, танцующий на веревке. Лотарь взял Клару под руку и увел ее от этого безумного вихря. Движения Натаанаэля становились все более дикими, порывистыми, все менее человеческими, а тень разила его когтями с задника сцены. Натаанаэль взмыл вверх, крутя ногами, будто на невидимом велосипеде... на миг взлетел, став невесомым... а затем рухнул через парапет навстречу гибели.

* * *

Все захлопали. Том переводил дух – словно сам участвовал в схватке и проиграл. Он исподтишка поглядывал на Джудиана, Чарльза и Геранта, чтобы понять, как на них действовал спектакль, и увидел, что все они улыбаются и изо всех сил аплодируют, так что он тоже стал аплодировать. Филип тоже хлопал. Его больше всего заинтересовали фарфоровые лица кукол. Когда герой на протяжении спектакля претерпевает столько изменений, но у него может быть только одно выражение лица, какое из них выбрать? Он понимал, почему доктору Коппелиусу подходит рот, который одновременно улыбается и презрительно ухмыляется, но самое удачное лицо было у Натаанаэля – серьезное и слабое, деликатно-худое, с полуулыбкой. Во время безумной финальной пляски лица куклы было почти не видно – только тень. Хитро придумано. И разница между «живой» марионеткой и Олимпией – марионеткой-автоматом – передавалась просто блестящее. Плавными движениями Олимпия передразнивала плавные движения всех марионеток. Вот это здорово. Он продолжал хлопать.

Дороти не понравился ни спектакль про Золушку, ни этот. В голове крутились мысли о пауках, нитях, жалах. Она думала о ловких пальцах, управляющих сюжетом и героями, и решила, лишь наполовину осознавая эту мысль, что любой контроль такого рода опасен и ему следует противиться. Ей было приятно смотреть, как Олимпия разлетелась на куски. Дороти сказала себе, что не видит смысла в таком зрелище, хотя на самом деле видела и он ей совсем не нравился.

Гризельде представление понравилось. Она ощущала, что в ином мире, внутри ящика, есть свобода, там все живее, красивее и ужаснее, чем в обыденной повседневности. Голубое шелковое платье Клары с крохотными складочками плиссировки было прекрасно, а собственное платье Гризельды, напомнившее ей про мисс Маффет, – отвратительно. Олимпия была замечательной пародией на мир визитных карточек и чайных чашек, комментарием к нему. На свете есть вещи получше того, что сулят Гризельде. И кукольник об этом знает.

Кукольник Ансельм Штерн вместе со Штейнингом вышел из-за ящика с бархатными занавесями, теперь скрывающими его творения, и поклонился зрителям – робко, пряча глаза. Миссис Беттс принесла новую порцию угощений. Ансельм Штерн опять исчез. Гризельда посмотрела на Дороти, которая стояла с сердитым видом:

- Мне хочется посмотреть на марионеток. Пойдем?
- Ты иди, он будет рад. Мне не хочется.
- Гризельда поколебалась.
- Иди-иди, – сказала Дороти. – Ему будет приятно.

* * *

Гризельда подошла и встала рядом со Штерном, который распутывал нити, сматывал их в клубки и укладывал уже неодушевленные фигуры в коробки-постельки. Бледные лица пристально смотрели черными глазами в пустоту. Гризельда сказала:

- *Ich danke Ihnen, Herr Stern, ich danke Ihnen für eine grosse Freude. Das war ausgezeichnet.*
- Кукольник посмотрел на нее и улыбнулся:

– *Du sprichst Deutsch?*

– *Meine Mutter ist aus Deutschland. Ich lerne nur, ich kann nicht gut sprechen. Aber die Sprache gefällt mir. Und die Märchen. Ist es möglich, den Sandman zu lesen?*

– *Natürlich. Es ist ein Meisterwerk von E. T. A. Hoffmann. Ich schicke dir das Buch, sobald ich nach Hause komme. Deutsch mit Hoffmann zu lernen, das ist etwas.*⁹

Он встал и довольно церемонно протянул ей руку. Затем достал из кармана записную книжку и карандаш и попросил Гризельду написать свой адрес. Гризельда была в восторге – и потому, что у нее вышел настоящий разговор по-немецки, и потому, что ей пришлют сказки.

* * *

Артур Доббин думал о Филипе. Он думал: нужно сказать кому-нибудь, что Филип должен отправиться с ним и Фладдами в Пэрчейз-хауз. Бенедику Фладду нужен помощник. Доббин надеялся стать таким помощником, но не сумел. Глина у него в пальцах корчилась и превращалась в бесформенную кашу. Его обжиги кончались катастрофой. Когда он отправлялся в «Жабью просеку», Фладд напутствовал его словами: «Не трудись возвращаться обратно». Но Доббин хотел вернуться. Фладд был гений, и Доббин хотел быть рядом с ним. Он хотел привезти с собой Филипа в качестве мирного приношения. Доббин подумал, не спросить ли разрешения у Серафиты Фладд, но она не имела привычки что-либо решать; она лишь стойко все сносила, держалась прямо и улыбалась. Дочери, видимо, пошли в нее. Герант мог бы выслушать просьбу, но Доббин чувствовал, что Герант его не любит. А Герант, как все, боялся отцовского дурного настроения. Был еще Проспер Кейн, который приезжал в Пэрчейз-хауз для консультаций, поскольку Фладд не снимался до того, чтобы явиться к нему. Доббину трудно было принимать решения. Он наблюдал за Филипом, который внимательно и вдумчиво смотрел на марионеток. Доббину хотелось быть частью какой-нибудь группы, какого-нибудь братства. Он глядел на Филипа с зарождающейся любовью. Лидд в Ромнейских болотах – идеальное место для будущего сообщества творцов, с Фладдом в роли предводителя, хотя с ним и будет трудно. Доббин умел смягчать трения. Он думал, что, может быть, его талант – именно в этом.

В Лидд он попал случайно. Как и многие другие люди, он изменил свою жизнь, навестив Эдварда Карпентера в Милторпе. Карпентер и его друг-рабочий Джордж Меррилл жили с размеренной простотой, возделывали землю, носили домотканую одежду и самодельные сандалии, принимали солнечные и воздушные ванны, открывая наготу стихиям. Доббин побывал на лекции Карпентера в Шеффилде. Она была посвящена язвам цивилизации и способам их лечения. Пропитанное благородством харизматическое начало святого-анархиста вызвало пламенный отклик в душе Доббина.

Доббин, толстенький сын докторской вдовы, послушно изучал медицину, чего, несомненно, пожелал бы его покойный батюшка, и постоянно проваливался на экзаменах. Он робко воображал себе страстную дружбу с соучениками-студентами, но от смущения катастрофически глупел и терял дар речи. Услышав Карпентера, он понял, что единственный способ – полностью изменить свою жизнь, убить свое старое «я». Он думал, что у него нет воображения. Он понятия не имел, куда идти за новой жизнью.

Что-то из этого он умудрился выдавить из себя в разговоре с Карпентером, после лекции, когда все пошли по-товарищески выпить пива и покурить. Карпентер распознал суть Доббина и пригласил его в Милторп.

⁹ – Благодарю вас, герр Штерн, благодарю вас за большое удовольствие. Это было превосходно.– Ты говоришь по-немецки?– Моя мать из Германии. Я только учусь, я пока не могу хорошо говорить. Но мне нравится этот язык. И сказки. Можно ли прочитать «Песочного человека»?– Конечно. Это шедевр Э. Т. А. Гофмана. Я пошлю тебе эту книгу, как только вернусь домой. Учить немецкий по Гофману – это нечто замечательное (*nem.*).

Там Доббин наслаждался пирогами с лососиной, которые пек Меррилл, и смотрел, как двое мужчин спокойно сидят и вяжут. Через дом проходили чередой, постоянно меняясь, искастели, идеалисты и потерянные души. Ученые мужи из Кембриджа и рабочие с ферм, эмансипированные женщины и неудовлетворенные клирики. Как-то летом в Милторпе Доббин купался нагишом в ручье с Мартином Калвертом, скитальцем, похожим на цыгана. Калверт учился на священника и бросил. Он пожил как мирянин в религиозной коммуне в Гламоргане. Научился ткать в ремесленной коммуне в Норфорке. К моменту встречи с Доббином Калверт решил стать горшечником. Работать с плотью самой земли, как он выразился. Эта идея – искусство от самой земли – чрезвычайно захватила Доббина. Во время купания они заметили, краснея и хохоча, что их члены привстали и покачиваются, колеблемые течением, – «как заколданные змеи», сказал Мартин, смеясь, и Доббин был околован.

Пешком они отправились на поиски наставника-горшечника. Они пошли в Южно-Кенсингтонский музей и увидели там сосуды работы Бенедикта Фладда. Мартин Калверт сказал, что этот человек – мастер и надо попытаться его найти. Мартин описывал сосуды – их пропорции, тонкую глазурь, уверенность гончара, – и Доббин видел их совершенство его глазами.

В поисках Фладда они двинулись на юг. Они нашли его в Пэрчейз-хаузе – частично перестроенной, обветшалой елизаветинской усадьбе, что пряталась в лесах на плоской болотистой равнине за Лиддом. Мартин с заразительным энтузиазмом попросил за них обоих. Фладд был в приподнятом настроении и разрешил помочь ему с обжигом. Обжиг обернулся катастрофой. Настроение Фладда изменилось к худшему. Он проклял обоих друзей. Доббин был почти уверен, что Фладд произнес традиционную формулу церковного проклятия. На следующее утро Мартина не оказалось. Он взял рюкзак, тихо вышел из дома в предрассветной тьме и исчез.

Доббин остался на месте – ждать весточки. Но она не пришла. Он старался не попадаться на глаза Бенедикту Фладду, почти удалившемуся от мира, и пытался как-то помочь Серафите и ее детям. Доббин не умел делать горшки, но умел готовить. Он готовил свежую рыбу, пирожки с овощной начинкой, тарталетки с заварным кремом. Женщины Фладдов готовить не умели, и у семьи не было денег, чтобы нанять кухарку. Они приняли Доббина. Его сердце было разбито, но он, обладая подлинным смиренiem, не делал из этого трагедию всей жизни.

Так они жили с полгода. Фладд в основном притворялся, что не замечает Доббина, а Серафита давала ему небольшие суммы денег на покупки и ремонт. Как-то Доббин зашел в деревенскую церковь. На болотах часто попадаются величественные церкви, построенные для богатых фермеров и моряков в те времена, когда море еще не отступило и реки не обмелели. Эта церковь носила имя святой Эдбурги. К удивлению Доббина, в ней обнаружился небольшой витраж работы Берн-Джонса, изображавший святую в красивом белом платье, босой, на цветущих лугах. Доббин встал на колени в золотом и травянисто-зеленом свете, падавшем от святой, закрыл лицо руками и обнаружил, что рыдает, – слезы катились меж пальцев.

Кто-то подошел сзади, деликатно тронул его за плечо и предложил помочь.

Так Артур Доббин встретил Фрэнка Моллета, настоятеля прихода Святой Эдбурги. Моллет был тонкокостный, светловолосый, тощий, с хорошенькими усиками и шекспировской острой бородкой. Холостяк, он жил в коттедже в деревне Паксти. Он не был ни Мартином, ни Эдвардом Карпентером. Он чем-то походил на Доббина – робостью, неуверенностью в себе, так что легко отбросил роль наставника или спасителя и стал просто другом. Они говорили о мечте Доббина – коммуне или братстве, о новой жизни ради общего блага, которую можно начать в обшарпанных амбарам и сарайах Пэрчейз-хауза.

Доббин решил, что единственный выход – пойти спросить Геранта. Герант беседовал с Джюлианом и Флоренцией Кейн о пансионе и обучении на дому. Геранту хотелось бы поступить в Итон или Марло, но латыни и истории он учился у Фрэнка Моллета, а математике – у учителя, приглашенного деревенским сквайром, заодно с сыновьями сквайра. Герант был недоволен, когда Доббин вмешался в их разговор и серьезно спросил его насчет Филипа.

— Иди спроси маму, — сказал он.

Доббин заметно расстроился. Оба знали, что она ничего не ответит. Флоренция сказала, что видела рисунки Филипа и они замечательно хороши. Герант ответил, что если Филип так уж хорошо рисует, то они окажут ему плохую услугу, зарыв его талант среди болот, где и поговорить не с кем. Флоренция сказала, что Филип спал в гробнице, в подвале. Интерес Флоренции передался Геранту. Он сказал, что, может быть, его отец согласится поговорить насчет Филипа, если отец Флоренции рекомендует его — пошлет письмо или что-нибудь такое. Поэтому они посоветовались с Продлером Кейном, а он поговорил с Серафитой, которая ангельски улыбнулась и сказала: все выйдет очень хорошо.

В понедельник утром Хамфри уехал подавать в отставку. Его переполняло нервное возбуждение. Он сказал Олив, которая решила еще полежать, что поговорит с секретарем правления и попросит немедленной отставки. Он сказал, что будет скучать по «Старой dame». Может быть, он задержится в городе, поговорит кое с кем. Зайдет на вечер журнала «Желтая книга» на Кромуэлл-роуд и перемолвится словечком с Харландом. И к Хенли в «Новое обозрение» зайдет, и в «Экономист». И может быть, доедет на поезде до Манчестера и поговорит с редактором «Воскресной хроники». Олив мягко заметила, что рано или поздно ему придется прекратить беготню и в самом деле что-нибудь написать. И выразила надежду, что арест Оскара с желтой книгой под мышкой не убьет журнал.

– Но ведь у него был французский роман, а не журнал «Желтая книга».

– Но все равно озверевшая толпа разбила им окна.

Хамфри, одетый в городской костюм, наклонился и поцеловал жену. В начале беременности она всегда вяло реагировала на его авансы – лишняя причина выбраться из дома. Он сказал, что велит принести ей завтрак в постель.

– И если встретишь Тома, пришли его ко мне.

– Обязательно.

В прихожей Виолетта держала плащ, шляпу и портфель. Интересно, подумал Хамфри, знает ли Виолетта, что Олив снова беременна. Он удивительно плохо представлял себе, что именно знают сестры друг о друге.

– Присматривай за домом, Ви, – сказал он.

– Да уж будь спокоен.

* * *

Пришел Том с завтраком, который Ада сервировала на подносе. Олив, как всегда в таких случаях, произнесла: ««Победитель Тарбормота! Дай тебя я лобзниму!» – и оба засмеялись. Том поставил поднос на тумбочку у кровати и наклонился в объятия Олив. Она раскраснелась. Волосы темной лужей растеклись по подушке. Когда Том был маленький, он забирался в постель к матери, и она рассказывала ему сказки про воинов-дюймовчиков, ходивших в военные походы по долам и холмам одеяла. Позже они вместе с Дороти пристраивались к маме с двух сторон, но Дороти была неуклюжа, и уюта поубавилось. Том давно уже вырос из возраста, когда можно залезать к маме в постель. Но он присел на край, погладил закрытые одеялом ноги и посочувствовал больной маме. Она улыбнулась и сказала, что это пройдет. Она, пожалуй, поработает сегодня в постели. Может быть, он принесет *их книжки*? У нее появилось несколько новых идей. Том снова поцеловал мать, соскользнул с кровати и пошел вниз.

Их книжки хранились за стеклянной дверцей в шкафчике, в кабинете Олив. У каждого из детей была своя книга и своя сказка. Началось это, конечно, с Тома, и его сказка была самая длинная. Каждая сказка писалась в отдельной книге, украшенной аппликациями и цветными узорами. Книга Тома была чернильно-черно-синей, украшенной папоротниками и орляками – настоящими, засушенными, и ненастоящими, вырезанными из золотой и серебряной бумаги. Книгу Дороти, цвета лесной зелени, покрывали вырезанные в детской картинки – ежики, кролики, мышки, синички и лягушки. Книга Филлис была розовой и кружевной, с наклеенными феями – платья в цветочек и тюлевые крылья, душистый горошек и колокольчики, маргаритки и анютины глазки. Книгу Гедды – в фиолетовую, зеленую и белую полоску – украшали силуэты ведьм и драконов. Книга Флориана была совсем маленькая, теплого красного цвета, с «Рождественским дедом» и «рождественским поленом».

Все это началось, когда Том (сказочный Том) обнаружил дверь в волшебный мир, которая появлялась и пропадала. Воображаемая дверь находилась в реальном месте – погребе «Жабьей просеки», где хранился уголь и висела паутина. Это была маленькая серебряная дверца наподобие крышки люка, куда мог пролезть ребенок, но не взрослый, видимая только при свете полной луны. Она вела в подземный мир, полный туннелей, проходов, подземных рудников, странных обитателей и тварей, добрых, злых и равнодушных. Оказалось, что герой Тома, которого иногда звали тоже Том, а иногда – Ланселин, искал свою тень, и этим поискам не было видно конца. Тень украла Крыса, когда Том еще был в колыбельке.

Эта сказка имела такой успех, что Олив изобрела для других детей другие двери, отверстия в ткани повседневной жизни. *Alter ego*¹⁰ Дороти – настойчивая девочка по имени Пегги – нашла деревянную дверь с железными задвижками под корнями яблони в саду. Это оказался путь в странную страну, населенную полуживотными, людьми и созданиями, которые меняли шкуру и размер – иногда по желанию, а иногда по случайности. Так что даже человеческий ребенок мог внезапно, за несколько секунд, превратиться в ежика и спрятаться в опавших листьях. В этих землях водились волки и кабаны. Героиней сказки Филлис была принцесса, которую поменяли местами со служанкой. Она обнаружила трещину в чайнике, который ее заставили мыть. Трещина проходила по картинке, где на хорошенъком лугу танцевали дамы под флейту и тамбурины. Чтобы съежиться и пролезть в эту трещинку, нужно было пожевать китайский листовой чай определенного сорта, известного как «жемчужный», – маленькие шарики, которые в кипятке разворачиваются в большие листья. В сказке Филлис были принцы и принцессы в замках, замороженные или спящие, ожидающие спасителя, который найдет ключ и освободит их. Дверца Гедды находилась в больших напольных часах в столовой. Проход открывался, когда часы били полночь. Он вел в мир ведьм, волшебников, лесов, погребов и зелий, там дети мучились в клетках, как птицы, ожидая избавителя, который выпустит их на свободу, там проходили удивительные состязания в искусстве превращений, с участием гномов-магов, волшебников, черных дам и синих кобольдов. Сказка Флориана едва началась. Возможно, его дверь была в трубе – он утверждал, что видел там толстяка в красной шубе, с мешком. А может быть, ему предстояло вырасти из этого и создать другой мир. А пока что в его сказке жили его мягкие игрушки – медведь Пушок, кот Снежок и полосатая вязаная змея по кличке Хвостик. В мире, лежащем по ту сторону волшебной двери, они были исполнителями, гладкими и лоснящимися, – Медведь, Кот и Змей.

* * *

Том заглянул в свою книгу. Сказка удлинилась на пару страниц. Компания искателей двигалась по темному туннелю – герой без тени, золотая ящерица размером с терьера, с гранатовыми глазами, и прозрачное, желеобразное бесформенное существо, перетекающее по земле и постоянно меняющее облик. Появился кто-то новый – он бесшумно бежал по туннелю впереди них и оставлял округлые следы в пыли. Возможно, это была утраченная тень, ставшая осязаемой (а возможно, и нет). А может, это другой такой же искатель, друг или враг, или просто незнакомец в темноте.

* * *

Сказки в книгах детей были по природе своей бесконечны. Они, подобно кольчатым червям, цеплялись крючочками и петельками за новый поворот сюжета, который двигался, изви-

¹⁰ Второе «я», двойник (*лат.*).

вался. Каждая развязка должна была порождать новую завязку. Были в сюжетах и ответвления, которые потом снова вливались в основное русло, дальше и глубже по ходу сюжета. Олив иногда «грабила» сказки своих детей – брала оттуда что-нибудь годное для печати: ситуации, людей, обстановку; но все понимали, что магия жива только тайной, только тогда, когда она – общий секрет.

Все – от Флориана до самой Олив – ходили по дому и парку, саду и кустарнику, службам и лесу, осознавая, что у вещей есть не только видимые, но и невидимые формы, в том числе у плотных, материальных стен кухни и детской, таивших в себе башни и драпированные шелками будуары. Все знали, что кроличьи норы открываются в подземные проходы, ведущие в страну мертвых, что паутина может превратиться в оковы крепче стали, что мириады прозрачных созданий танцуют у края луга, щебечут, свисая с веток, как летучие мыши, на грани видимости, на грани слышимости. Сок любого плода или цветка мог оказаться зельем, кото-
рое, если выжать его на глаза, смазать им язык или уши, подарит доступ к тайнам, нечеловеческую остроту восприятия. Любая сломанная веточка могла быть знаком или вестью. Видимый и невидимый мир переплетались и накладывались друг на друга. В любой момент можно было провалиться из одного в другой.

* * *

Том принес матери, уgneздившейся в одеялах и покрывалях, пачку книг. Мать спросила, заглянул ли он в свою. «Конечно, – ответил Том, – как же без этого».

– Как ты думаешь, кто это бежит впереди?

Иногда они придумывали сюжет вместе.

– Мальчик, который потерялся. Случайно свалился в какую-нибудь шахту.

Олив подумала.

– Друг или враг?

Том не знал. Он сказал, что, наверное, и сам новый пришелец тоже не знает. Он может оказаться тем или другим. Он все еще думает, что скоро выберется на свет, сказал Том, он еще не знает, как это трудно.

– Я буду над этим думать, – сказала Олив. – А ты иди учи латынь.

* * *

Неисчерпаемая, беспокойная изобретательность ума Олив иногда пугала ее самое. То, что ее выдумки приносили в дом деньги, настоящие банковские чеки в настоящих конвертах, было хорошо, внушало уверенность. Давало привязку к реальному миру. А реальный мир прорастал сказками, куда ни падал взгляд Олив. Взять, например, водяной сосуд Бенедикта Фладда, стоявший на лестничной площадке. Стоило Олив мимоходом заметить прозрачных головастиков, и она, не успев даже спуститься по лестнице, уже рождала в уме целый водяной мир, где плавучим водяным нимфам угрожала огромная водяная змея, а может, страшное чудище Джени-зеленые-зубы, которое пряталось в водорослях, прочесывая их крючковатыми пальцами.

И вчерашние события уже стали пищей для сказок – почти мгновенно. Олив с радостью смотрела представление Штерна по сказке Гофмана – любое представление, любое произведение искусства пробуждало у нее желание творить, желание создать другой шедевр, свой собственный. Она переносилась из плоской повседневности в *тот* мир. Плавные движения марионеток, отблески огней рампы на шелковых и тюлевых нарядах, едва видимые нити-паутинки – не успели куклы отыграть свои роли, как переродились в голове у Олив в другие фигуры, другие огни. А что будет, если марионетка вдруг умудрится вырваться на волю, ожить? Будет расхаха-

живать, красоваться, кивать среди неуклюжих людей с толстыми мясистыми пальцами. Совсем не так, как в «Пиноккио»: марионетка не захочет становиться «настоящим мальчиком», захочет просто свободы. В момент, когда Олимпия разлетелась вихрем оторванных конечностей, Олив отдала должное искусству Ансельма Штерна – на долю секунды испытала потрясение, совсем как обычный человек. Но тут же снова ушла в свои мысли. А что, если ожившая марионетка встретит куклу, которая не хочет оживать, – инертную, восковую, покорную? Некоторые куклы непонятным образом обладали душой – ну, во всяком случае, характером, личностью, – а некоторые решительно отказывались оживать, только глупо улыбались и сидели где посадят. Дороти не любила кукол. У Филлис была ими забита целая кроватка – куклами живыми и неживыми. А что, если освободившаяся марионетка войдет в детскую и на нее налетит рой фланелевых симуляков… конечно, эта мысль навеяна Олимпией, Гофман все-таки гений… из этого можно вылепить по-настоящему страшную сказку для детей, но надо соблюдать меру: Олив знала, что существует предел выносимого, который нельзя переступать. Но она часто вплотную подходила к этому пределу. И действительно, ее писательский успех начался с «Кустарника», где она остановилась на грани невыносимого и даже, по мнению некоторых проницательных критиков, переступила эту грань. Но дети любят невыносимое – в разумных количествах. У самой Олив в детстве была книга – «Сказки» Андерсена. Мать читала ей «Дюймовочку», «Принцессу на горошине». Олив ужасно боялась за девочку ростом с дюйм: ее отдали доброй глупой мыши, сговорили за толстого слепого черного Крота, и он должен был увести ее под землю, в мещанский уют, где она больше никогда не увидит солнца. Олив подумала, что, может быть, блуждания Тома под землей начались с ее собственного детского страха за Дюймовочку в кротовьей норе.

Олив намазала медом поджаренный хлеб и глотнула чаю. Том положил на поднос с завтраком букетик полевых цветов – анютины глазки, колокольчики, пару веточек папоротника. Вонзив зубы в хлеб, Олив почувствовала, как в животе шевельнулась тошнота, но сладость меда успокоила ее. В голове возник непрошеный образ мертворожденного ребенка: что-то скорченное в плодном мешке, привязанное, как марионетка, длинной нитью к жизни самой Олив. Она очень старалась не надеяться и не бояться за нерожденного ребенка. Думая о будущих детях, она чаще представляла себе неподвижные восковые лица мертворожденных, чем потенциального нового Тома или Гедду. Она боялась за детей, их присутствие лишало ее покоя. И еще она любила их… заботилась о них. Она откусила хлеба с маслом и медом, питая себя и слепую новую жизнь, поселившуюся в ней без приглашения. И обратила свои мысли к тени, бегущей под землей.

* * *

Олив Гримуит была дочерью шахтера. Ее отец Питер Гримуит, забойщик, рубил уголь в шахте, под землей, под той самой землей, по которой Олив бегала в школу и в лавку Голдторпа. Мать звали Люси, она была урожденная Эпплдор, дочь драпировщика из Лидса. Люси была маленькая, худая, истощенная, она когда-то собиралась стать учительницей и знала всякие вещи – например, что имя «Люси» означает «свет». Детей было пятеро: Эдвард, Олив, Пити, Виолетта и Дора, нежданный ребенок, умерший вместе с матерью от пневмонии, когда Олив было двенадцать. Оба брата, Эдвард и Пити, начали работать в шахте с четырнадцати лет. Олив Уэллвуд не придумывала сказок про шахту Голдторпа, она же «Галлфосс». Олив запрятала подальше память о терриконах и лебедках, о домике на Мортон-роу – темной нежилой гостиной, уютной кухне, садике размером с носовой платок, вечной вони выгребной ямы на заднем дворе, саже, покрывающей кружево занавесок. Олив упрятала все это – она представляла себе сверток из промасленного шелка, перевязанный бечевками, с красными сургучными печатями на узлах. Женщина, похожая и непохожая на Олив, несла этот сверток, не оста-

навливаясь, по продуваемой ветром пустоши – иногда на голове, иногда на вытянутых руках перед собой, как несут подушку с регалиями при коронации. Из этого видения не могла получиться сказка. Женщина будет идти вечно, и сверток никогда не вскроют. Небо над женщиной было серым, воздух – грозовым. Когда Олив Уэллвуд обнаруживала, что ее мысли движутся в том направлении, она усилием переводила воображаемые стрелки на воображаемых рельсах и переключалась «оттуда» обратно в «Жабью просеку», в пеструю светотень диких лесов и летучих элементалей.

Олив Гrimuit продолжала жить в Олив Уэллвуд – не в последнюю очередь благодаря присутствию Виолетты Гrimuit, которая в то роковое время была еще мала, но все равно ощущала тягу корней, хотела вспоминать, могла вдруг ни с того ни с сего спросить: «А ты помнишь хлеб с мясным соком по воскресеньям? Помнишь, как мы смазывали салом шахтерские сапоги?»

Но не Виолетта, а одна только Олив, когда не удавалось этого избежать, вспоминала Питера и Пити, Люси и Дору. Во всяком случае, Олив так думала.

* * *

Сказки рассказывала не Люси – она учила детей читать и пыталась привить им хорошие манеры. Сказочником был Питер. Он возвращался домой к ужину – одежда задубела и черна от угольной пыли, глаза и губы красные на черном от угля лице, ногти обломаны, и в них навеки въелась чернота. Отмывшись, он сажал Олив на колени и рассказывал ей про подземный мир. Про его живых обитателей – пони с мягкими носами, таскающих вагонетки с углем по туннелям, про мышей и крыс, которые заскакивали в торбы к пони и высакивали оттуда и которые могли сожрать обед из «тормозка» неосторожного шахтера или его свечи. Он рассказывал про ярко-желтых канареек, дрожащих и скачущих на жердочке в клетке. Живая система сигнализации. Если канарейка вдруг падала замертво, это значило, что приближается один из невидимых ужасов – удущливый газ, белый газ, гремучий газ. Газы испускал уголь, чей глубокий сон тревожили молотами и кирками шахтеры или обвалами – крепи забоя. Ибо уголь, как объяснил дочери Питер Гrimuit, некогда был живыми лесами – там росли папоротники, высокие, как деревья, и орляки со стволами толще бочонка, там ползали твари, чешуйчатые, как змеи. И все они сплющились, ушли в древнюю грязь. В угле попадались призраки листьев миллионолетней давности, очертания тридцатифутовых стрекоз, отпечатки лап исполинских ящериц. Сильнее всего удивляло то, что смерть этих растений была как бы отсрочена. Испарения в шахте – это газы, продукт прерванного разложения. Питер перечислял дочери имена мертвых растений, которые сейчас шипели и вспыхивали в очаге на кухне. Лепидодендрон, сигиллярия. Он объяснил, как по-научному называются «испарения», то есть газы. Удушливый газ – в нем быстро задыхаешься. Угарный газ – он подкрадывается, если можно так выражаться, мирно, он пахнет фиалками и другими цветами. И метан – «Это, Олив, который выходит из задницы у коров» – гремучий газ. Шахтеры рассказывали про крыс, которые, украв еще тлеющую свечу, вызывали страшные взрывы. «Попробуй, Олив, как-нибудь поднести спичку к коровьей заднице», – сказал Питер, а Люси оборвала его: «Придержи язык, негоже такое говорить девочкам».

Рассказывали шахтеры и про «стук-постуков», чьи молоточки слышались порой в забое, и про Синюю шапку – он был одет в ослепительное синее пламя и иногда помогал толкать вагонетки, и про озорного духа по имени Разрежь-постромки – он забавлялся тем, что резал постромки, то есть упряжь, с помощью которой пони и шахтеры тянули ящики с рудой и вагонетки. Шахтеру стоило времени от времени оставлять в шахте денежку, чтобы задобрить тамошних жителей. Питер рассказывал про кобольдов так же живо и наглядно, как про крыс и канареек.

Время от времени он приносил домой кусок угля, на котором был словно вырезан папоротник. И два раза он принес «угольные шары», какими славилась Галлфосская шахта. Угольный шар – это сохранившийся ком некогда живых предметов, спрессованных вместе: листьев, стеблей, веток, стручков, цветов, иногда и семян миллион летней давности. Олив Уэллвуд до сих пор хранила эти окаменелые комья, но никому их не показывала.

* * *

Эдвард был крупным мальчиком, в отца, и в шахту пошел с радостью – во всяком случае, так думала Олив. Правда, она вообще мало задумывалась об Эдварде: она никогда не знала его близко, он был слишком большой и не замечал ее. Но вот Пити. Пити. Он был годом старше Олив и пошел скорее в мать, чем в отца, хрупкий, хоть и жилистый, с материнскими тонкими мышиными волосами. (Олив со своей вороной гривой была в отца.) Он писал стихи и знал названия цветов и бабочек. Он сказал Олив: он знает, что должен идти в шахту, но ему хочется чего-то другого. «Чего? – шепнула она ему на ухо в темноте, в кровати, где они прижимались друг к другу ради тепла и утешения. – Чего ты хочешь?» А Пити ответил: «Какая разница, чего я хочу, все одно мне этого не видать». И Олив сказала: «Если б я была мальчиком, я б подумала, чего хочу». А Пити ответил: «Рази ж это не одно и то же? Тебе вовек быть девчонкой, ничего не поделать, а мне идти в шахту, тож ничего не поделать».

* * *

Пити пошел работать в шахту, так как ничего поделать было нельзя, и по своему маленькому росту получил работу дверового. Чтобы проветривать туннель и препятствовать распространению гремучего газа, использовались низкие дверки, которыми управляли маленькие мальчики, – они сидели на корточках в дырке, выдолбленной в стене забоя, с веревкой в руке, за которую тянули, чтобы пропустить вагонетки. Так эти мальчики сидели по двенадцать часов во тьме, под низким сводом, ожидая шума приближающихся вагонеток. Пити никому не рассказывал, как боялся и темноты, и сужающейся тесной дыры, на которую сверху давят мили земли, угля и камня – на нее и каким-то образом на самого Пити. Но в ночь накануне первого спуска он вцепился в Олив изо всех сил и сказал: «А ежли я не сдюжу? Ежли струшу?»

Олив представила себя на его месте – как ей велят отправляться вниз и как она визжит и бьется в спускающейся клети, рыдая и умоляя, чтобы ее вернули наверх. Она не могла себе представить, как можно добровольно склонить шею, вступая под низкие своды, добровольно войти в темноту. Дети лежали, обнявшись, и дрожали, и у обоих по лицу текли слезы – горячие и мокрые.

Вернувшись после первого дня в шахте, Пити сказал: «Ничё, не так уж страшно». Но наутро Олив чувствовала – он кочнеет от ужаса.

Он привык. Он тянул веревки в темноте почти год. Но однажды высоко над головой шахтеров устье реки Галл задрожало, затряслось, словно вскипело гигантскими пузырями. Случившийся поблизости батрак с интересом наблюдал. К своему изумлению, он увидел, как вода начала отливать от обоих берегов, уходя через огромную зияющую трещину на дне. Батрак побежал. Он понял, что земля между руслом и сводом шахты треснула и вода льется в шахту. Он пробежал две мили до шахты, и люди спустились вниз с предупреждением, а другие поднялись наверх – те, кто успел обогнать надвигающийся поток воды, затопляющий туннели и забои, отрезающий боковые проходы.

Дыру, в которой сидел Пити, тоже затопило. Олив не знала, как это случилось – быстро или медленно, пытался он спастись или захлебнулся сразу. Тела шестерых мальчиков и семи

взрослых затянула и потом выплюнула зловонная черная вода. В неожиданно открывшуюся промоину упал один спасатель и тоже утонул.

В часовне отслужили панихиду и собрали денег на памятник, чтобы поставить рядом с местом происшествия. Питер Гримуит словно усох. Он ходил сгорбившись, глядя в землю. Он по-прежнему после ужина сажал Олив на колени – она была уже, можно сказать, слишком большая для этого, – но рассказывать уже не мог, у него больше не было ни сказок, ни секретов в карманах. Люси не плакала при оставшихся детях. Она была беременна, постоянно кашляла, веки были растерты в красноту. Несмотря на растущий живот, казалось, что она тоже усыхает.

Через полгода всю деревню сотрясли громкие взрывы и треск. Все знали, что это значит, – они привыкли всю жизнь бояться именно этого. Все побросали свои дела – оставил полузашипанный пирог, недочищенный ботинок, не до конца разорванную на подтирку для отхожего места газету – и скорее, кто бегом, а кто быстрым шагом, направились к надшахтному зданию, где в вечернем воздухе летали языки пламени, пепел и горячие частицы шлака. Шахтеры, которые выбрались наверх, пытались объяснить, где произошла авария и где могут быть застрявшие в ловушке другие шахтеры. Олив стояла, держа за руку Виолетту, потому что Виолетта цеплялась за нее. Олив предпочла бы, чтобы ее не трогали, предпочла бы не быть, на время перестать существовать. Не знать было невыносимо. Он жив, он поднимется наверх, они бросятся к нему и зарыдают. Он мертв. Наверх поднимут его тело. Или не поднимут: оно сгорело или погребено слишком глубоко в коварном угольном болоте.

Его так и не нашли. И никого из тех, кто с ним работал. Ожидание было настолько долгим и мучительным, насколько это вообще мыслимо.

Один раз Олив проснулась среди ночи с мыслью о том, что Питер и люди из его звена все еще живы – там, внизу, в кармане воздуха за крепостными стенами из обломков, и ждут спасения, которое никогда не прибудет.

Эти два сюжета были сложены в промасленный, перевязанный веревками сверток. Узлы залиты сургучом. Женщина шла по пустоши, продуваемой ветром, с запечатанным, безмятежным свертком, в котором скрывалось немыслимое, оскорбляющее нравственность.

* * *

Когда Люси слегла и начала умирать вместе с новорожденным младенцем, который кротко отказывался брать грудь, Олив стояла у постели матери, недвижная, словно каменное изваяние. Виолетта оказалась кудесницей. Она варила говяжий бульон, предварительно выпросив мяса у соседей, она по ложечке вливала его в потрескавшиеся губы Люси, вытирала ей лицо, гладила руки, наклонялась над ней и оттягивала красное веко, заглядывая под него, вглубь глаза. Ада, сестра Люси, приехала из Бэтли и умоляла Люси не умирать. Тетя Ада и Виолетта относились к Олив недружелюбно. «Шевели култышками!» – кричала Ада. Виолетта скулила и назойливо трясла умирающую. Никто не понимал, что такое с Олив, кроме самой Люси, у которой все реже хватало сил вернуться в сознание. «Она слишком много вынесла, она больше не может». Но Люси обнаружила, что не в силах поднять руку и поманить Олив к себе, не может открыть рот и вытолкнуть из себя слова. Последним настоящим чувством Люси было беспокойство из-за каменного взгляда Олив. «Не ожесточайся так», – хотела сказать Люси, но не смогла. «Ну раз не могу, так не могу», – сказала она себе и закрыла глаза навеки.

* * *

Джордж Мейблторп, муж тети Ады, пять лет назад пережил несчастный случай в шахте. Обвалом ему раздавило бедро. Он сидел дома и чинил разные вещи: сапоги, башмаки, разбитый фарфор – невидимыми заклепками. У тети и дяди был сын Джо, который работал в шахте и

отдавал родителям часть заработка, но все равно достаток в семье был шатким, как и ее общественное положение. Ада была портнихой. Она шила робы шахтеров из толстой ткани, униформы для прислуги, юбки, нижние юбки. Она посадила Виолетту, которая ловко управлялась с иголкой, помогать и учиться ремеслу. Олив хорошо давалось ученье, а шитье не очень. Еще до всего этого она заработала стипендию на учебу в старших классах, и Питер ею гордился. Тетя Ада разрешала ей ходить в школу еще год. Вернувшись домой после школы, Олив принималась за работу. Она отскребала дочиста деревянное сиденье в отхожем месте. Она вставала на колени на вонючий цементный пол и терла его. Она чистила ботинки и картошку, она полировала ножи, она мыла и скребла порог у входной двери. Тетя Ада решила, что чистых фартуков и приличных башмаков не напасешься, и забрала Олив из школы. Тетя не любила Олив и решила послать ее в люди. Тогда Олив не нужно будет кормить – даже наоборот, она сама будет присыпать тетке деньги.

Сначала Олив отдали в горничные к владельцу овощной лавочки в Донкастере. Олив надела душную черную форму, тяжелый фартук и некрасивый накрахмаленный чепец, похожий на шлем. Ноги у нее были слишком тонки для толстых черных хлопковых чулок, которые собирались складками на лодыжках. Олив была отвратительна самой себе, а хозяину казалось, что от нее волнами исходит ненависть. Олив отослали обратно к тете Аде и сказали, что она не справляется с работой. Тетя Ада уложила Олив на свои костлявые колени и отпустила щеткой для волос.

Посоветовавшись с пастором, тетка снова отправила племянницу работать – на сей раз «прислугой за все» у двух незамужних учительниц в Конисборо. Барышни Бин владели полным шкафом книг и были вежливы. Олив должна была притворяться двумя служанками сразу: кухаркой в чепце и толстом фартуке, оборачивающем ее целиком, и горничной в крахмальной наколке и фартучке с оборочками, приносившей чай. Олив ненавидела эти одежды. Глядясь в зеркало по утрам, она воображала себя дамой в бальном платье и в чем-то вроде короны. Она расцветала и сама это видела.

Если бы Олив была приятнее в обращении, или покорнее, или жальче, барышни Бин узнали бы, что ее заставили отказаться от стипендии, и, может быть, даже стали бы давать ей книги, посыпать на лекции или в вечернюю школу. Но Олив по-прежнему ходила с озлобленным, высокомерным видом, а хозяйки по-прежнему робко критиковали ее гляжку, штопку, полировку серебра. Однажды Олив навлекла мучительную неловкость на всех троих: она вошла в комнату, когда барышни завтракали, и сказала, что вынуждена взять расчет, так как умирает.

– От чего? – спросила мисс Эстер Бин.

– От истечения кровей, – ответила Олив цитатой из Библии.

Спазмы первых месячных скручивали Олив в три погибели, текла кровь, а Олив была в полном неведении. У барышень Бин недостало духу объяснить ей, в чем дело. Они послали за соседской кухаркой, которая грубо, без нежности, объяснила Олив, что с ней происходит, и показала, как резать старые простыни на полосы, а потом стирать.

* * *

Олив сочиняла сказки для самой себя. В детстве она и для Виолетты сочиняла сказки.

– Жила-была зеленая корова, которая не желала идти к себе в хлев, как бы ее ни колотили. Она не шла, потому что не хотела. Тогда позвали собак, чтобы они на нее лаяли, и принесли веревки, чтобы ее тянуть, и… и… и… и ей в хлев положили сена, чтобы она пошла, но она не хотела.

– Олив! А почему она не хотела?

– Не знаю, – отвечала Олив. Она ясно представляла себе затруднительное положение коровы, но не видела никакого выхода.

* * *

Работая прислугой, Олив жила в двух сказках. Одна – вполне обыкновенная. Жила-была благородная дама – ее украли из ее настоящего дома или она была вынуждена оттуда убежать. Она пряталась, переодетая, под видом кухонной прислуги. Ведь все эти героини до своего преображения, бального платья и туфелек с драгоценными камнями как раз пепел просеивали, сидели у очага, чумазые, плача от дыма. Нужен был принц. Олив искала принца, как девушки гадают, ожидая, что суженый выплынет из темноты за освещенным свечой лицом в зеркале. Олив знала, что будет очень красивой, хоть что-то у нее было, гадкий утенок должен был преобразиться в лебедя, девчонка-золушка – в невесту. Но тень никак не обретала плоти. Все слова были на месте. Красивый, темноволосый, шальной, необузданый (Олив читала дамские романы). Но принц не воплощался. Не обретал лица. И хуже того, он ничего не делал, так что сюжета не получалось. Оставалось только многозначительно просеивать пепел. Один раз Олив нашла в пепле настоящую маленькую брошку с драгоценными камнями – горячую, золотую, с крохотными голубыми камушками и эмалевыми листочками. Олив забрала ее и спрятала за кирпичом в стене заднего двора. Это был талисман. Но волшебство, которое он должен был совершить, еще не созрело.

Другая история удалась лучше с точки зрения сюжета. Однажды (один-единственный раз) Питер и Люси возили детей на поезде к морю, в Файли, где сняли жилье на неделю. Там дети играли и плескались в огромном песчаном заливе. В Файли было *чисто*. Море было огромное. Нужно было спуститься по крутым холмам, пройти через туннель под эспланадой и дорогой, и вот уже выходишь на сдуваемый ветром мягкий песок, за которым лежит жесткий мокрый песок с волнистой поверхностью и лужицами соленой воды. Олив начала рассказывать себе историю про мальчика Питера Пайпера, заточенного в сиротский приют. Питер был один-единешенек на всем белом свете, ему некого было любить, и его никто не любил. И вот у него родился план, который он выполнил скрупулезно и терпеливо: сбежать ночью и идти пешком к морю, подальше от сажи, грязной каши под ногами и запаха серы. Этот сюжет был настолько же точен, насколько другой – шаток и расплывчат. Все детали нужно было придумать и отработать – какая лестница в приюте, какая задвижка на двери изнутри, какие замки на двери снаружи, как украдь ключ, который их откроет, как достать масло, которым нужно смазать замки, чтобы не скрипели.

Шаг за шагом, буквально по мере того, как Олив выполняла работу по дому, Питер Пайпер продвигался к свободе – по нескончаемым городским улицам с нишами и развозчиками угля, по загородной дороге, через деревни (не настоящие, потому что Олив не знала названия ни одной настоящей деревни, а деревни с зелеными лужайками, стаями уток, лавочками с колокольчиками на дверях). Питер натер себе мозоли, и Олив хромала по кухне барышень Бин. Питер проголодался, сошел с дороги, и добрый пастух дал ему сэндвич… нет, сыр и яблоко… восхитительно вкусного крошащегося сыру и жесткое сладкое яблоко… у Олив потекли слюнки.

Конечно, за Питером гнались… начальство из приюта, мастер, которому Питера хотели отдать в ученье… Питер лежал в канаве и видел сапоги пробегающих мимо преследователей…

* * *

Но сбежать из дома предложила все же Виолетта – как-то на Рождество, когда Олив приехала ненадолго погостить к тете Аде.

Виолетта была вся в синяках, но Олив их едва заметила. Все ее мысли были о Питере Пайпере и о дороге к морю. Она спросила сестру, куда же им убежать.

– В Лондон, я думаю, – ответила Виолетта. – Там можно найти какую-нибудь работу. Я скопила на один билет на поезд. На второй нам придется украсть у нее.

* * *

Так они – в блузках, юбках и шляпках работы Виолетты – и оказались на лекциях Хамфри Уэллвуда по английской литературе. Виолетта устроилась на хорошее место к портнихе и Олив тоже устроила на работу, на простое шитье, ничего особенно сложного.

Виолетта решила, что это хорошее место, – как она мысленно говорила себе, ступенька, с которой можно шагнуть вверх.

Олив обрела Хамфри, а еще – ритмы Шекспира и Свифта, Мильтона и Бенъяна и поняла, что именно их искала всю жизнь, сама того не зная.

Сестры нашли свою ступеньку и шагнули вверх.

* * *

Пока Олив сочиняла сказки, Виолетта пасла младших детей, расположившись на траве. Был жаркий солнечный день. Слуги заканчивали послепраздничную уборку. Виолетта устроилась в провисающем плетеном кресле, поставив рядом корзинку с рукоделием. Она штопала чулки, аккуратно натягивая их на деревянный грибок, раскрашенный под мухомор, красный с белыми точками. Филлис, Гедда и Флориан «изучали природу» – разглядывали собранную коллекцию цветов и листьев. Том, Дороти, Гризельда и Чарльз валялись рядом на травке, читая одним глазом, слушая одним ухом, изредка лениво переговариваясь. Том делал вид, что учит латынь. Робин дремал в колясочке под тентом. В плодовом саду закуковала кукашка. Виолетта велела детям послушать.

– В июне кукашка колоском подавилась, – сказала она.

– Ку! – кратко воскликнула кукашка.

Виолетта принялась рассказывать детям про кукашек.

– Они не выют гнезд. Пользуются чужими. Они тайно подкладывают свои яйца к чужим, в гнезда других птиц. Мать-кукашка очень старается, когда выбирает приемную мать. Она откладывает яйца, когда птица, чье гнездо, отлучается поесть. А приемная мать – пеночка, к примеру, или овсянка – кормит чужого птенца как своего, даже когда он ее перерастает, даже когда он уже не помещается в гнезде… Он кричит, требует еды, и она отзыается…

– А что же ее родные дети? – спросила Гедда.

– Может, они вылетают из гнезда раньше, – туманно сказала Виолетта.

– Он их выталкивает, – вмешалась Дороти. – И ты это прекрасно знаешь. Мне показывал Барнет, лесник. Кукушонок выталкивает яйца, шлеп – и вдребезги, и птенцов выталкивает тоже. Он к ним подбирается ближе и ближе, подлезает под них и выпихивает. Я видела их на земле. А родители продолжают кормить кукушонка. Как они не знают, что это не их птенец?

– Родители много чего не знают, даже удивительно, – ответила Виолетта. – И удивительно, сколько тварей не знают своих настоящих родителей. Совсем как андерсеновский гадкий утенок, который на самом деле лебедь. Мать-природа все так устроила, чтобы кукушонок выжил и улетел с другими кукушками в Африку. Она об этом заботится.

– А о пеночках не заботится, – сказала Дороти. – Будь я пеночкой, я бы плюнула на этого кукушонка.

– Не плюнула бы, – отрезала Виолетта. – Ты бы делала то, что тебе природой положено, а это значит – кормить того, кто просит есть. Бывает не так уж просто разобраться, кто твои настоящие дети.

– Ты о чем? – спросила Дороти, садясь.

– Ни о чем, – сдала назад Виолетта. Потом едва слышно сказала, обращаясь к грибку для штопки: – Кто настоящая мать? Та, которая кормит ребенка, и моет, и знает все его повадки, или та, которая подкидывает его в чужое гнездо – пускай справляется как хочет...

Дороти словно слышала мысли Виолетты, как до того – мысли Филипа. Виолетта не впервые заговаривала на эту тему. Дороти обратилась за помощью к науке:

– Это просто инстинкты. У кукушек – свои, у пеночек – свои.

– Это доброта, заложенная в природе, – сказала Виолетта. И яростно вонзила иголку в носок.

Чарльз тихо и отчетливо произнес:

– Многие люди на самом деле вовсе не дети своих родителей и даже не знают, кто их настоящие родители, все время кто-нибудь рассказывает про такое...

– И нечего такое слушать. – Виолетта обрела прежний напор. – А людям не след такое рассказывать.

– У меня есть уши, что ж я могу поделать, – ответил Чарльз.

– Мыть их получше, – отрезала Виолетта.

Гедда прижала к себе куколок из башмака:

– У них у всех нет ни папы, ни мамы, только башмак. Они мои, я буду за ними смотреть.

В воздухе почему-то повисла неловкость. Том уткнулся в учебник латыни. Гризельда предложила Дороти пойти прогуляться по лесу. Чарльз сказал, что пойдет с ними, и Том тоже.

– Ку! – сказала кукушка в лесу. – Ку... ку... ку...

– Вот ведь странно, – сказала Дороти, – когда кукушонку пора лететь в Африку, он понимает, что он тоже кукушка, и летит со своими. Интересно, что он про себя думает, когда летит с ними. Он ведь себя не видит.

* * *

Они пошли в лес парами – два мальчика, а следом две девочки, все четверо в поношенной «деревенской» одежде, за которой не требуется особый уход и в которой можно лазить по деревьям и переходить вброд ручейки. Дети направлялись в лесной дом – секретное, потайное место, о котором мало кто знал и которое мало кто мог найти. Древесный дом был спрятан под сосной – нижние раскинутые шатром ветки служили ему крышей. Ветки были связаны веревками и бечевками, а щели между ними законопачены вереском и сухим папоротником. Для маскировки строители натыкали еще веток там и сям. В доме было две комнаты с крохотными оконшками – подглядывать наружу. Можно было лежать на крыше дома, среди ветвей, а внутри были ложа из вереска и столики из деревянных ящиков. Том любил это место больше всего на свете. Здесь, полностью спрятанный от мира, он становился самим собой. Том считал древесное жилище своим, хотя всю архитектуру дома и прочность конструкции придумала и продумала Дороти. Дороти любила приносить сюда всякие штуки, изучать их: черепа мелких зверушек, необычные растения. Еще Дороти любила забраться в древесный дом с Гризельдой и часами что-то увлеченно обсуждать. Во всяком случае, Том предполагал, что они там разговаривают, поскольку у него хватало такта не увязываться за ними. А за то, что он оставлял их одних, они тоже давали ему подолгу бывать одному, и дом становился его тайным убежищем. Беда была с Филлис, которая вечно увязывалась за старшими, если видела, что они направляются в лес. Ее присутствие было нежелательно: во-первых, потому, что она все время пыталась затеять «игру в домик», распределяя роли мамочек и папочек; во-вторых, потому, что

Дороти, Гризельда и Том видели в ней слабое место сплетенной ими сети молчания. Филлис могла донести, причем с удовольствием, поэтому ее приходилось одновременно подкупать и запугивать.

Чарльзу разрешали сюда приходить – горожанин по натуре, он не очень интересовался древесными домами, но выражал должное восхищение строительными талантами создателей дома. Том задумывался, понравится ли дом Филипу. Он решил, что, скорее всего, да, потому что Филип и сам когда-то прятался в тайнике. Но Филип уже уехал на болота вместе с Владдами и Доббином. Том также обдумывал, не показать ли дом Джулиану. Но Джулиан мог и не понять, что в доме такого особенного. А командирские замашки Джулиана могли не понравиться Дороти. В общем, насчет него пока рано было решать.

Они сели на ложа из охапок вереска, покрытые одеялами, и Том роздал яблоки и тянучки из запаса, который хранился в коробке.

Дороти спросила Чарльза:

– Что ты имел в виду, когда говорил, что многие люди вовсе не дети своих родителей?

Гризельда сказала: ее подружку Клементину Бэрт вечно дразнят за то, что она не похожа на отца, а еще люди часто замечают, что она очень похожа на леди Агнес Блофельд, и ее мать сказала, что это естественно, потому что у них есть общий предок. Но ее брат Мартин подслушал разговор родителей и сказал Клементине: он уверен, что на самом деле ее отец – лорд Блофельд. Чарльз начал делиться подробностями. Когда в загородных усадьбах бывают большие приемы и приезжают гости, лорда Блофельда и маму Клементины всегда селят в смежные комнаты. Это все знают. Дороти спросила, очень ли расстроилась Клементина. Гризельда сказала, что не знает. Она не захотела об этом разговаривать. Дороти отвлеклась на мысль о том, кто лучшая подруга Гризельды – Клементина или сама Дороти. Гризельда добавила: Клементина утверждает, что она точно не одна такая. Чарльз сказал, что Агнес Блофельд все это сильно не по нутру, потому что Клементина красивей ее и приятней в обращении. Похожа на нее, но гораздо привлекательнее. Том не любил разговоров о том, кто привлекательный, а кто нет. Он задумчиво произнес:

– Если человек вдруг узнал, что его родители – не его родители, он остается тем же человеком или становится другим?

– Думаю, что другим, – ответила Гризельда.

Дороти сказала, что это все то же, о чем говорила тетя Виолетта: настоящая мать – та, которая кормит ребенка, заботится о нем и все такое. Она всегда знала: тетя считает себя в каком-то смысле их настоящей матерью. Дороти понимала почему, но не считала и не хотела считать себя дочерью Виолетты.

Гризельда сказала: Клементина слышала, как родители кричали друг на друга и мать плакала.

Том спросил: разве не все родители кричат друг на друга? Дороти вспомнила, как они с Томом однажды притаились на лестничной площадке, подслушивая жестокуюссору родителей. «Я всегда заботилась о твоих детях!» – закричала мать, и отец ответил: «Да и я могу сказать то же самое!» Том и Дороти знали, что родители, когда злятся, говорят про детей «твои дети». Детям всегда было неприятно слушать такие слова: они не укладывались в голове, они словно превращали детей во что-то неживое, в кость, из-за которой грызутся две собаки.

Иногда они играли в вопрос: «Кого бы ты выбрал в родители, если бы у тебя не было настоящих папы и мамы?»

Клементина вряд ли захотела бы в такое играть.

Том думал о своей жизни, о лесах, о саде, о книгах, о человеческих голосах, о присутствии семьи в доме и вне дома, о восхитительном переходе от удобства к свободе и обратно.

– Мы – счастливая семья, – сказал он нежно и туманно. – Кто-нибудь хочет карамельку? Мятную? А розовую шипучку?

Чарльз спросил Дороти: правда ли, что она хочет стать врачом, или она просто так сказала?

– Я сначала просто так сказала, а потом поняла, что это правда.

– Мне тоже хочется чего-нибудь такого. Правда, я боюсь не выдержать, когда люди болеют, кровь и грязь и все такое, не говоря уж о том, что придется их резать. Но, я думаю, человек должен стараться что-то делать, чтобы стало лучше. Твой папа это понимает. А мой – нет.

Кустарник

Жила-была одна женщина. Ее муж отправился в дальнее путешествие и не вернулся – и ужас давно не подавал о себе никаких вестей. Поэтому семья впала в бедность, хоть и жила в красивом загородном доме с парком и садом. Матери в сказках бывают разные. Одни – добрые, преданные, самоотверженные, изобретательные, с бесконечным запасом терпения и любви. Другие – они часто не матери, а мачехи – недобрые, заносчивые, любят одних детей (своих собственных) больше, чем других, а с другими обращаются как с прислугой, не позволяют им ни играть, ни мечтать. Если уж вам нужна определенность, то женщина в этой сказке – добрая мать, а не злая мачеха. Но она не идеальна – живые люди вообще не бывают идеальными. У нее так много детей, что ее иногда дразнят Матушкой-Гусыней или Старухой в Башмаке. Она делает для детей все, что может. Штопает их одежду, разрезает простыни вдоль и сшивает неистертыми сторонами внутрь, готовит питательную еду из недорогих – да что уж там, из откровенно дешевых – продуктов, долго и терпеливо тушит их, добавляет для вкуса зелень со своего огорода. Мать заботится о том, чтобы у детей, которые ходят в школу, были непромокаемые ботинки. Она экономит на всем и откладывает гроши, чтобы каждый ребенок на Рождество и на свой день рождения получал хоть какой-нибудь подарок. Она сидит ночами, выкраивая хорошеньюку блузочку из старого платья или мягкую игрушку из собственной старой жакетки, до того истертой, что в ней ужас не выйти на люди. Да и выходить некуда. У матери нет ни времени на хождение по гостям, ни друзей, к которым можно было бы пойти.

* * *

Почти все дети ее слушались и помогали ей. У каждого была своя работа по дому: полировать серебряные ложки, ходить за молоком, поливать грядки с зеленью. Малютки бегали по кухне и по двору, как стайка гусят, и, конечно, часто оказывались на пути или подворачивались под ноги. Но один ребенок – не самый маленький и не самый большой, а, наверное, самый старший из малышей, которые еще не ходят в школу, – вечно бедокурил. Его имя было Перкин, но никто не звал его по имени. Называли его Свином. Сначала по-доброму. Когда в доме появился новый братик, одна из старших сестричек, заглядывая в колыбельку, заметила, что он похож на маленького розовенького поросеночка. Все засмеялись, и мальчика любовно называли розовеньким поросеночком, пока он был пухленьким младенцем, а когда вырос и начал бегать, стали звать просто Поросенком, а потом Свином.

Думаю, у каждого найдется знакомый с прозвищем, которое неудобно произносить вслух и о котором лучше забыть, а уж лучше бы его и не придумывали никогда. Пока Свин был маленький, он воспринимал свою кличку как должное, и у него даже была любимая игрушка – поросенок из розовой фланели, с которым он никогда не расставался. Мальчик радовался свиньям, встреченным на прогулках, и любил заходить на скотные дворы. Но с возрастом он стал замечать, что люди используют его кличку с упреком или в насмешку. «Что за поросенок», – говорили они, когда он слишком быстро ел. «Вот поросенок», – говорили они, когда он пачкался, а это с ним частенько бывало, потому что он любил возиться в земле, откапывать корни, разглядывать земляных червей. Поэтому в конце концов он решил: его имя значит, что он никому не нравится. Может быть даже, что его никто не любит.

Я не говорю, что он стал непослушным из-за прозвища. Непослушные мальчики рождаются каждую секунду, и все матери знают, что непослушание – все равно что кудрявые волосы или голубые глаза: оно бывает от природы. На самом деле Свин был хорошенечкий

мальчик, с золотыми кудряшками и голубыми глазами, сверкающими озорством. Но он был не простой озорник, а чрезвычайно изобретательный.

Он приносил в дом что попало и засовывал в самые неожиданные места. Он устроил червякам гнездо в бочонке с мукой – черви задохнулись, а муку пришлось выбросить. Он скормил целый рулет с маком птичкам, прилетевшим во двор, и дети остались без сладкого к чаю. Он залез в банки на шкафу и смешал чечевицу с чаем, горчицу с сахаром, перец с изюмом. «Вот чего я состряпал», – сказал он и чрезвычайно жалостно вопил, когда Матушка-Гусыня шлепала его, чтобы проучить. Урок не пошел ему впрок. Он побежжал из сада весь в грязи, уютно устроился в корзине с чистым бельем и заснул – невинный и улыбающийся, как дети из сказки, что блуждали в лесу. Все чистые простыни, полотенца, рубашки пришлось заново стирать, катать, сушить и гладить. А потом он побежжал очертя голову с банкой воды, в которой отмывались кисти для рисования, и упал прямо на выстиранное заново белье, и все белье пропиталось грязной водой с красками. Он прятал вещи – чайные ложки в мышиных норах, пуговицы в стоке раковины, ножницы в банках с солеными огурцами, – а потом забывал, где спрятал. Долготерпеливая мать – а она была долготерпелива – говорила, что жить с ним все равно что с чертенком или проказливым домовым. Однажды, когда он изрезал свой новый воротничок, чтобы вышло кружево, мать назвала его подменышем. «Что это такое?» – спросил Свин. Но не получил ответа. Да, к тому же он все время задавал вопросы. Что такое ветер, и почему этот жук дохлый, а этот корчится и дергает лапками, и кто растит траву, и что за человечки живут под корнями кустов, и почему свиньи роются носом в земле, и кто стучит по ночам в окно спальню, и зачем люди спят, когда могли бы бегать? Но ответов он не получал, потому что у матери не было сил и еще потому, что обычно он задавал вопросы пронзительным противным голосом, перебивая всех, кто уже говорил о чем-нибудь гораздо более разумном, например о школьных уроках или о дырке в чулке.

Он любил собирать вещи. У него был мешочек с сушеными насекомыми, и другой с особыми палочками, и мешочек стеклянных шариков, и мешочек его собственных камушков – это была его любимая коллекция. Он знал их все – каждый выступ, гладкие поверхности и шероховатые. Больше всего он любил кусочек белого известняка с дыркой, которая сделалась сама собой. Свин нашел этот камень под корнями в кустарнике. Он смотрел через дырку и говорил, что видит невидимые вещи. Говорил, что видит крохотных женщин, которые бегают по сушке для посуды. Говорил, что волосы матери полны пауков, сплетающих длинные пряди, чтобы соткать ей покрывало. Говорил, что видит мышку, которая сидит с расставленными лапками, держа пасму золотой нити, чтобы другая мышь могла сматывать золотой клубок.

Как-то раз Матушка-Гусыня особенно устала и пала духом, потому что ей пришло письмо, и она подумала, что это весточка от мужа, а это оказался забытый ею счет за уголь. Матушка-Гусыня замешивала тесто, чтоб испечь детям на ужин большой пирог, – для начинки она взяла чуточку мяса и добавила побольше овоцей и зелени. Вышло так, что из детей в кухне был только Свин, – все остальные ушли в школу, или с каким-нибудь поручением, или играть с друзьями, или спать (самые младшие). Свин сидел у решетки, ограждавшей чугунную плиту, и играл с камушками и стеклянными шариками. Он вел себя очень тихо, и Матушка-Гусыня заподозрила нехорошее. Она знала, что, если ребенок тихо играет, этому нужно только радоваться, но она была расстроена, и, конечно, имела на это полное право. Она продавливала сквозь пальцы муку, смешанную с жиром, и тут послышался тихий стук. Она спросила, не обворачиваясь:

– Поросенок, что ты делаешь?

– Я играю в шарики, – ответил Свин. – Армия шариков сражается с армией камушков. Шарики быстрее, а камушки упорнее.

– Смотри, чтобы они не раскатились по полу, – сказала Матушка-Гусыня. – Это может быть опасно.

Свин не ответил. Мать всегда говорила, дескать, то или се опасно, а с ним никогда ничего не случалось. Когда она снова взялась за муку, он послал вперед отряд шариков-разведчиков, маленьких, зеленых и розовых, которых называл малышами. Они замечательно рассыпались вокруг очага. Камушкам пришлось пуститься за ними в погоню. Они выстроились ровным прямоугольником, а потом – щелк, щелк – налетели на малышей, и воцарился хаос. Свин выслал на подмогу малышам эскадрон бурых шариков, а камушки дали им яростный отпор.

Матушка-Гусыня снова повернулась к нему:

– Я же сказала, не катай шарики по полу.

Свин от неожиданности вздрогнул и уронил весь мешок стеклянных шариков, которые тут же раскатились по всей кухне. Он быстро пополз на четвереньках, чтобы спрятаться за ящик для угля, ибо понял, что сейчас его отшлепают, и наступил коленкой на шарик, а это было очень больно, и он подумал, что, пожалуй, это и вправду отчасти опасно.

Матушка-Гусыня бросилась через кухню, чтобы схватить Свина за ухо и отшлепать. Но наступила на катящийся отряд камушков и шариков и с грохотом упала, по дороге смахнув со стола и миску с тестом. Волосы у Матушки-Гусыни расплелись, она ударила головой о ножку стола, рассадила щеку и подбила глаз. Она сердито уставилась на Свина – в волосах у нее было полно муки, на щеке кровь, и она прямо-таки пронзала Свина сердитым взглядом. Свин решил, что мать очень смешно выглядит. У него не было другого выхода – он мог, конечно, решить, что она очень страшная (она и вправду была немножко похожа на злую ведьму), но не захотел. Он засмеялся.

– С меня хватит, – сказала Матушка-Гусыня. Она принялась собирать камушки и шарики и швырять их в мусорное ведро.

– Не надо! – закричал Свин, и Матушка-Гусыня ответила:

– Ты мне надоел. Отправляйся в кустарник и не приходи большие.

Свину показалось, что вся кухня завертелась вокруг него, как струйки серого дымного стекла внутри прозрачных больших шариков. Он схватил свой любимый камень с дыркой – большие ничего ему спасти не удалось, – кое-как поднялся на ноги и выбежал из кухни. Он постарался закрыть за собой дверь насколько мог – до задвижки он еще не доставал. Он постоял несколько минут во дворе, ожидая, что его позовут, но его не позвали. Тогда он потрусил вдоль стены дома, через сад и в кустарник. Это был большой кустарник, сильно запущенный, и в нем было много всяких вещей, которых в приличном саду быть не должно, – например, заросли одичавшей ежевики, крапива, блуждающие плети брионии, потому что Матушка-Гусыня больше не могла платить садовнику. Для такого малыша, как Свин, кустарник был размером с целый лес. Ну или по крайней мере, чтоб не сказать лишнего, с небольшую густую рощу. Там были тропинки, которые сплетались в лабиринт, и разные растения выползали на эти тропинки, чтобы разрастись на них, закрыть их и сделать так, чтоб их вообще больше не было, – щитолистники и барвинки, сами по себе хорошеные, но дичающие без пригляды садовника, и некрасивые ползучие растения с колючими цеплючими репьями.

Свин обычно не заходил далеко в кустарник. Червей и камушки он добывал с клумбы перед домом. Но он решил проучить Матушку-Гусыню и бодро пошел вперед.

Он заходил все дальше в гущу кустов и деревьев и все дальше от дома, и ему показалось, что кусты и поросль становятся выше, а сам он – меньше. Он замедлил шаг, ужне не зная точно, где находится, потому что кустарник был посажен в виде лабиринта, а Свин был слишком мал ростом, чтобы увидеть лабиринт сверху. Может быть, Свин шел по кругу и вот-вот должен был прийти к началу самой первой дорожки, на которую ступил, – а может быть, он все ближе подходил к тайному центру кустарника. День ужне клонился к вечеру, и длинные тени листвьев ложились на другие листья и на посыпанную гравием дорожку, тень на тень, как серая паутина на зеленом. В то же время все, что было в кустарнике, казалось

плотнее, зеленые и бурье цвета растений – сочнее. Свин остановился поглядеть на остролист. Конечно, любой остролист – живой, но Свину показалось, что этот остролист слишком полон жизни, какой-то совсем другой жизни. Казалось, блестящие листья вот-вот засветятся зеленым светом, а ягоды казались краснее, круглее и ярче любых ягод, какие он видел раньше. И в то же время они были опутаны густой сетью почти осязаемых теней. «Я не боюсь, – сказал себе Свин, – я не боюсь». Конечно, это значило, что он боится. Он крепче сжал белый камушек, словно талисман. И увидел стайку поганок с шелковистыми бежевыми шляпками и роскошными оборками очень бледного телесного цвета вокруг влажных жемчужных ножек. У Свина мелькнуло странное желание: не просто любоваться ягодой остролиста или поганкой, а самому стать этой ягодой или грибом. Он пошел еще медленней – торопиться было некуда, ведь ему велели никогда не возвращаться, – и почувствовал, что время вокруг него остановилось совсем.

Он дошел до крохотной прогалины, где стояла крохотная деревянная скамейка. Она была покрыта ярко-зеленым мхом. Свин сел, даже не подумав, что запачкает ноги, носки и брюки. Вдруг все стихло. До того в подлеске раздавались разные звуки: чириканье птички (словно два камушка бьются друг о друга), шорох невидимых ног в перепрелых листьях. А теперь воцарилась тишина. Свин поднес камушек к глазу и посмотрел в дырку на путаницу ежевики и папоротника. На папоротнике сидела крохотная женщина, орехово-коричневого цвета: с коричневой кожей и коричневыми волосами под коричневой шляпой. Из-под кустистых бровей выглядывали пронзительные карие глазки. Женщина была ни молодая, ни старая. Она куталась в коричневый плащ с прожилками, наподобие древесного листа. Она что-то собирала в маленькую аккуратненькую корзиночку – Свин не мог разглядеть, что именно, потому что оно было совсем крохотное. Он сидел совершенно неподвижно, молчал и глядел сквозь камушек. Еще через пару мгновений женщина закрыла корзинку, слезла по вайям папоротника, на котором сидела, и пошла прочь по тропинке. Свин смотрел ей вслед, пока она не дошла до кривого корня терновника: она нырнула под корень и будто провалилась сквозь землю.

Свин встал и пошел за ней. Он встал на колени на тропинке – на колени, запачканные грязью и зеленью, что так рассстроило бы Матику-Гусынию, – и заглянул под корень. Там, на подстилке из листьев, перегнивших до состояния скелетов, лежало несколько тонких белых косточек от какого-то давно истлевшего птенца-слетка. Никакой женщины под корнями не было. Правда, под деревом уходила вглубь маленькая норка, вроде мышиной. Свин заглянул туда и ничего не увидел, кроме закручивающейся глиняной спирали и теней. Он поднес к глазу камушек, а глаз – к норе и взгляделся.

Там был роскошный чертог. В нем собралась пестрая толпа людей: одни – земляного коричневого цвета, как женщина, которую он выследил, другие – все золотые, в желтых, очень старомодных одеждах, треты все серебряные, с лунно-белыми волосами, в платьях, на которых танцевали огоньки. Все люди были очень заняты – одни готовили еду на ослепительно пылающих очагах, другие ткали на крохотных изящных станках, треты играли с детьми, вовсе крошечными, размером с жуков или муравьев. Весь зал был коричневый, с коричневыми столами, коричневыми бархатными стульями и занавесями, но на столах стояли золотые и серебряные тарелки и кубки, и крохотные факелы горели в серебряных подставках в углах и на полках.

– Ох! – воскликнул Свин. – Как бы мне хотелось туда попасть!

Раздалась резкая пронзительная трель, словно потревожили стаю скворцов, и все коричневые, золотые и серебряные лица обратились к нему, и все замерли.

Крохотный мужчина, один из золотых, в золотой куртке и остроконечных золотых башмаках, подошел к подножию туннеля, в который заглядывал Свин. На мужчине был рос-

кошний плащ, сделанный из угольно-черных, небесно-голубых и лимонно-желтых перышек больших и малых синиц, и что-то вроде шляпы с высокой короной, с лентой и пером.

— Можешь войти, — сказал он. — Добро пожаловать.

— Я слишком большой, — ответил Свин, который всегда был слишком мал для всех своих затей.

— Съешь папоротниково семя, — сказал человечек. — Ты знаешь, где его найти?

— Под пальчиками листьев, — ответил наблюдательный Свин.

Он огляделся и увидел бледные папоротники, мерцающие в тени тернового куста. Свин был безрассуден. Он не спрашивал себя: «А это не опасно?» или «А если получится, то как я потом вернусь?». Он взял папоротник, сколупнул семена с изнанки листьев, положил две или три штучки на язык и проглотил. Потом вернулся к туннелю под корнями, снова взял свой камушек и стал смотреть через дырку.

Очень трудно описать, что он чувствовал в следующие мгновения. Он смотрел на мышиную норку или червоточину, в которую не влезли бы и два его пухленьких пальчика, и в то же время балансировал на чем-то вроде низкой стены над широкой, глубокой, неровной лестницей с огромными ступенями, грубо вытесанной из земли и круто спускающейся вниз. Что гораздо хуже, его любимый камушек одновременно помещался в кулаке, как обычно, и тянул к земле, став тяжелей могильного камня.

— Мужайся, Пэкан, — сказал голос все того же человечка, но Свин его не видел, потому что туннель стал очень длинным и заполнился каким-то туманом.

— Меня зовут Перкин, — сказал Свин.

— У нас тебя будут звать Пэкан. Здесь все по-другому.

Был момент, когда Свину, или Пэкану, захотелось повернуть обратно. Но тело пронизал туман, заполнявший дырку в земле, и Пэкан услышал, как голоса зовут его сквозь туман и как волшебный народец скачет и поет, словно крохотные музыкальные молоточки бьют по стеклу. И он поднял ногу, одновременно тяжелую, как свинец, и легкую, как перышко, и перетащил ее через край на ту сторону дыры. И как только он это сделал, глядь, — он сам стал крохотным человечком, изящным и гибким, и легко побежал по лестнице — вниз и вниз, пока не достиг чертога. А добравшись туда, увидел золотого мужчина, который теперь был выше Пэкана ростом, и серебряную даму, и они церемонно приветствовали его, смеясь. Они сказали, что они — король и королева портунов, Гурон и Эйлса, и приветствовали его. И все присутствующие собрались вокруг и закружились в танце, сложном, как лабиринт, выкидывая коленца и оттягивая носок, и Свин обнаружил, что знает все па не хуже портунов и все песни может петь наравне с ними.

* * *

В верхнем мире сгущались сумерки, а Матушка-Гусыня привела в порядок кухню, убрала шарики и поставила в духовку пирог, от которого уже пошел вкусный дух. Она промыла и смазала рану, расчесала и заплела волосы. Какое-то время она наслаждалась тишиной. В доме было тихо и царил порядок. А потом Матушка-Гусыня — все-таки она была матерью — забеспокоилась, не случилось ли чего со Свином. Поэтому она пошла к двери и позвала его. Сначала едва слышно в вечерней тишине, потом погромче, уже с ноткой раздражения и тревоги. Но все везде было тихо. Все привычные звуки куда-то подевались — не кричала сова, не хлопали крылья птиц, летящих на ночлег. Воздух был густ, как застывающее желе. Мать подумала, что Свин прячется, чтобы ей досадить, но, кажется, сама себе не поверила. Она взяла шаль и вышла, чтобы поискать его. К этому времени в кухню пришли все остальные дети, так что мать велела им присматривать друг за другом, и искать Свина, и покричать ей, если он вернется.

И пошла быстрым шагом, и стала звать в сумерках, словно наследка – разбежавшихся цыплят. Она все ускоряла шаг, ходила все более широкими кругами, и молчание сгущалось вокруг ее голоса. Сначала она звала: «Свин! Поросенок!» Потом, чтобы выманить его лаской: «Поросеночек!» А потом эти слова вдруг показались ей очень грубыми, и она закричала: «Перкин, Перкин!» Но ответа не было, спустилась ночь, и огромная, серебряно-золотая, невидящая, сияющая луна поднялась над кустарником, отбрасывая то одни, то другие тени. И матери пришлоось вернуться в дом, потому что ей предстояло кормить и укладывать многочисленных детей, а было уже поздно, и Перкин-Свин не откликался.

* * *

Он не вернулся и на следующий день, и мать возобновила поиски. Она искала, рассеянно делала работу по дому и снова принималась искать, день за днем, и голос ее звучал все более устало и печально. Она прочесывала широкими кругами проселочные дороги и поля, где Свин никогда не бывал. Она обыскивала вдоль и поперек весь кустарник, в котором снова шла обычная жизнь и раздавались обычные звуки – шуршили птицы и мыши, хрюстели под ногами раковины улиток. Но однажды, много времени спустя, мать заметила любимый камушек Свина, с дыркой; полускрытый под корнем, он словно светился белым светом... Она подняла камушек, и заплакала, и взглянула плачущим глазом через дырку.

Она бесцельно озиралась, ничего не ища, и вдруг увидела не то нору, не то туннель. Почему-то она решила, что нужно заглянуть туда через камушек, – должно быть, вспомнила о мелких, так раздражавших ее причудах Свина, которые теперь казались ей умилительными. И она увидела коричневый чертог и золотых, серебряных, коричневых человечков, которые деловито суетились, ткали и шили, полировали и варили, а одна компания сидела за столом, и среди них – Свин-Перкин, одетый в удобную куртку и лосины цвета ореха.

Мать хотела заговорить, но из горла вылетели только тихие рыдания.

Свин поднял голову. Что он увидел? Один огромный глаз в красных прожилках, до краев полнившийся соленой водой, окруженный длинными мокрыми волосинами, закрывающий выход из туннеля. Он уронил золотой кубок, из которого пил. Потом мать снова обрела голос и сама услышала, как говорит:

– Поросенок, Поросеночек мой, где же ты?

– Ты же видишь, – ответил он. – Я в гостях. У моих друзей, портунов. У меня теперь новое имя. Еще у меня есть работа, я выхожу наверх и присматриваю за всем, что растет, вместе с остальными...

Слезы туманили взор матери, и перед глазами все плыло и расходилось кругами. Она подумала, что он будто бы лишился возраста: он теперь ни мальчик, ни мужчина. Она сказала:

– Возвращайся домой.

Он ответил, что она велела ему не возвращаться.

– Ты же знаешь, что я на самом деле не это хотела сказать.

– Слова живут своей жизнью, – сказал король Гурон, приблизившись к подножию лестницы. – Иди домой, женщина. Пэкану тут хорошо.

Она пробормотала что-то про лопату – что придет и выкопает их, как муравьев.

Зал наполнился ужасным жужжанием, словно гнездо разозленных шершней. Король ответил:

– Ты ничего не добьешься. Он не вернется, а ты навлечешь несчастье на себя и на всю семью.

Она испугалась. Она сидела, как ком глины, глядя через дырку в камне.

— Иди домой, — сказал Пэкан. — Я здесь, я недалеко. Я приду тебя навестить. В один прекрасный день. Скоро.

— Обещаешь?

— О да, — сказал он, и взял свой кубок, и выпил все, что в нем осталось.

Мать осторожно положила камушек с дыркой в карман фартука, чтобы большие не слышать жужжания и смеха. Он обещал прийти, и притом скоро.

Она поскорей выбежала из кустов, увидела залитые солнцем окна дома, старшую дочь с самым младшим ребенком — они стояли в дверях и высматривали, не идет ли мать, — и вспомнила сказки о людях, которые отправились в гости к волшебному народцу и провели там семь лет, которые показались им за один день и одну ночь.

8

Они медленно ехали по Северному Даунсу, потом свернули на северо-восток по направлению к городку Рай и Ромнейскому болоту. Доббин с Филипом в двуколке, запряженной пони, то обгоняли общарпанную повозку Серафиты и детей, то опять отставали. Они пересекли Нижний Уилд, обогнули восточное ответвление Даунса, проехали Бидденден и Тентерден, через Ширлейскую пустошь выехали на дорогу, отделявшую Ромнейское болото от Уоллендского, и двинулись в сторону Лидда и Данженесса. Сперва они ехали по плодородной местности, меж полей, где паслись коровы и красовался цветущий хмель, по извилистым дорогам, над которыми нависал густой зеленый полог ветвей и выступали в ряд цепкие узловатые корни. Доббин пытался заговорить с Филипом, а тот рассеянно глазел по сторонам. Когда они добрались до болот, воздух стал другим – более прохладным, как показалось Филипу, соленым, не таким неподвижным. Путь пересекало множество маленьких каналов, проток и ручейков. Деревья, выросшие под упорным порывистым ветром, были малорослы и тянулись вбок. Филипу захотелось их нарисовать. Они были застывшими формами яростного движения. Какие-то твари свистели, стонали и квакали вокруг. Здесь не было сажи.

Они поехали на юг через Брензетт и Брукленд. Доббин, вопреки ожиданиям, не начал рассказывать про местные достопримечательности, но умолк и погрузился в раздумья. Он стал возиться с поводьями, и пони сердито встряхнулся. Они проехали по проселочной дороге, окаймленной высокими изгородями, с зеленою заросшей канавой, и свернули в ворота, на дорожку, ведущую к дому. За вязами стоял дом с елизаветинскими трубами. Повозка въехала во двор со службами, конюшнями, кучей навоза. До Филипа донесся запах огня. Он вытеснил запахи соленой воды и качаемых ветром трав. Дым был дровяной. Он тяжело висел в воздухе.

Доббин велел Филипу подержать пони, открыл задвижку на двери и вошел в помещение, которое снаружи выглядело как молочная или доильный сарай. Филип остался с пони. Из двери на другом конце двора вышел человек – коротенький, плотный, стремительный, он мотал головой, махал руками и кричал:

– Я же тебе ясно сказал: не смей возвращаться! Пошел вон! Убирайся!

Филип стоял. До Фладда дошло, что Филип – не Доббин.

– А ты чего стоишь? Поставь пони в стойло и проваливай. Куда пошел этот?

Филип не знал, где стойло. Он не двигался и молчал. Фладд проклял его на средневековом английском языке и ушел в ту же дверь, куда раньше вошел Доббин. Во двор въехала повозка. Герант слез на землю и занялся лошадьми. По-видимому, слуг, которые могли бы ему помочь, тут не было. Из молочной вышел Фладд, почти волоча за собой Доббина и продолжая ругаться. У Фладда была грива густых темных, стоящих почти вертикально волос, курчавая черная борода, мускулистые руки и плечи. Одет он был в халат заводского рабочего, плотные хлопковые брюки и рыбакские сапоги. «Пошел, пошел», – повторял он, обращаясь к Доббину. Герант отвел упряженую лошадь в стойла и вернулся за пони, не сказав ни слова ни отцу, ни Филипу.

Имогена обратилась к отцу:

– Не сердись. Мы вернулись вовремя и поможем с обжигом. Мы все поможем.

– Нет, не поможете. Мы уже провели обжиг, мы с Уолли, пока вы там веселились. Полная катастрофа. Полнейшая.

– Почему же ты нас не подождал? – спросила Имогена.

Отец кратко объяснил, что хотел сам провести обжиг, в отсутствие навлекающего несчастье Доббина. Но Уолли задремал среди ночи, и огню не хватило дров, и погибла не только вся партия посуды, но и сама печь для обжига. И еще черт принес возчика с телегой глины, и пришлось ему заплатить.

Серафита, статная и мрачная, встала посреди двора и спросила, есть ли в доме какая-нибудь еда. Фладд сказал, что нет, – у него не было ни времени, ни желания ездить в Лидд, а Уолли нужен был в мастерской, а деньги понадобились, чтобы заплатить за глину, а он понятия не имел, когда они соизволят вернуться обратно. Она могла бы и сама сообразить.

Три женщины Фладд стояли безмятежными статуями, глядя друг на друга и на Доббина в ожидании помощи. Доббин нервно сказал, что может съездить на ферму за молоком и хлебом и чем-нибудь на ужин – сырром, беконом, овощами. Если никто не возражает. Но нужны деньги. Серафита порылась в сумочке, нашла несколько монет и вручила Доббину. Герант вышел из конюшни и сказал, что лошадь сегодня уже отработала свое и что за продуктами придется идти пешком. Доббин спросил Филипа, не хочет ли тот прогуляться до фермы. Филип сказал, что, наверное, лучше поможет с печью. Фладд злобно оскалился.

– Это еще кто? – спросил он у Серафиты.
– Артур решил, что он сможет помочь тебе в мастерской.
– С меня хватит одного неуклюжего олуха.
– Он не неуклюзий, – сказал Доббин. – Я – да, я и не спорю. – (Тут Фладд зарычал.) – Я – да, а он – нет. Он работал в гончарных мастерских. Разбирается в обжиге. Он хочет работать с вами.

Серафита сказала, глядя в пространство, что если никто не будет помогать с работой, то и работы никакой не выйдет. Фладд ответил, что все равно и пускай все идет прахом. Филип сказал:

– Я видел кувшин, который вы сделали. В том доме, в «Жабьей просеке». Я по правде хочу с вами работать. Я смыслю в гончарном деле.

Он двинулся вперед, в мастерскую, которая располагалась в бывшей молочной. Он раньше встречал гневливых людей и знал, что от них надо уйти, иначе они не смогут успокоиться, даже если это нужно им самим.

В гончарной мастерской царил хаос. На одном конце помещения стояла небольшая печь для обжига. Сквозь распахнутые дверцы виднелись скособоченные полки и куча пепла с осколками взорвавшихся сосудов. На стеллажах вдоль одной стены сохли горшки, и плавающий в воздухе пепел и дресевяная пыль садились на них, чего не следовало бы допускать. Тут же стояли ведра с водой и раствором жидкой глины, не закрытые как следует. Разносортные миски с глазурью и кисти не ровнялись аккуратными рядами, а опасно теснили друг друга. Посреди мастерской лежала куча осколков бисквитного фарфора, – похоже, ее топтали ногами. Филип хорошенько подумал. Чужие орудия труда нельзя трогать без разрешения. Печь разгружать нельзя, потому что Фладду надо будет посмотреть, что и где пошло не так. Филип нашел за дверью метлу и принялся подметать мощенный плиткой пол. Он увидел жестяное корыто, где отмокали осколки для получения грата, и добавил туда еще несколько штук, чистых, подобранных с пола во время подметания. Бенедикт Фладд вошел следом за ним. Он мрачно стоял в дверях, глядя, как Филип подметает. Наконец сказал:

– Можешь помочь мне разгрузить печь. Это так или иначе придется сделать. Мне нужно найти пробники.

Партия для обжига состояла из глазированных кувшинов – в основном, как увидел Филип, зеленых и медовых оттенков. Все они обуглились, скорчились, покрылись рубцами, разлетелись на куски. Филип в полной тишине помогал Фладду укладывать куски в бельевую корзину и подметать мусор. Все содержимое печи обрушилось по направлению к центру. На самом верху Филип нашел совершенно целое блюдечко, потом еще одно. Они были еще теплые – примерно температуры тела. Он осторожно подул на них, чтобы убрать пепел. Одно блюдечко было такое же золотое и бирюзовое, как горшок в «Жабьей просеке», а другое – поразительно яркого красного цвета, вроде алой кошенили. Филип никогда в жизни не видел такого цвета. Оба блюдечка были раскрашены серыми клубящимися облаками, дымной паутиной, из-

за которой, словно из-за покрывала, выглядывали крохотные создания. Это были бесенята с мерзкими нахальными мордами, очень живые. Филип нарушил молчание:

– Смотрите, вот эти маленькие цепы. Глазурь хорошо легла.

Он протянул блюдечки гончару, который принял вертеть их в руках, фальшиво напевая вполголоса. Филип отважился сказать, что никогда не видел такого оттенка красного цвета.

– Мы пытаемся заново открыть *sang de boeuf*.¹¹ Тут я хотел получить изникский красный, но вышло ближе к *sang de boeuf*. Я даже не надеялся.

Филип сказал, что другая глазурь – сине-зелено-золотая – напоминает кувшин из «Жабьей просеки».

– То была еще одна проба наугад. Скорее неудачная. Ты работал с глазурью?

– Я работал на гончарной фабрике. Загружал капсели в верхушках бутылочных печей. Но моя мамка – расписчица. Она больная от свинца и пыли. Они там все болеют. Но она разбирается в красках, а я смотрел, как она работает.

– Хм, – сказал Бенедикт Фладд. – Хм.

Они продолжили уборку, теперь уже в относительно дружелюбном молчании.

* * *

Помона робко заглянула в дверь и сказала, что ужин готов, если они хотят ужинать. Горшечник вполне мирно ответил, что голоден как волк, и Филип заметил, как расслабились шея и плечи у Помоны, заранее сжавшейся в ожидании отцовского гнева. То же Филип заметил и у всей семьи – даже у Геранта. Семья сидела вокруг кухонного стола, где стояли суповые миски, покрытые медовой глазурью, по которой вились змеи цвета жженой умбры, большая тарелка с кусками разных сыров, хлеб и блюдо с яблоками. Фладд сел во главе стола и похлопал по соседнему стулу, указывая место для Филипа. Он склонил голову и начал быстро читать молитву по-латыни: *Gratias tibi agimus, omnipotens Deus, pro his et omnis donis tuis...*¹² Домочадцы склонили голову, и Филип тоже. Затем Имогена разлила из железной кастрюли исходящий паром овощной суп, и они приступили к еде. Все молчали. Все смотрели на Филипа: у того было смутное ощущение, что сейчас очень многое зависит от него и что, может быть, ему это вовсе не по плечу.

Когда все поели, Фладд сказал, что подумывает оставить Филипа, чтобы тот помогал в мастерской. «О, это хорошо!» – воскликнул Доббин, чем навлек на себя новый град упреков в бесполезности. Он храбро ответил, что если у мистера Фладда будет надежный помощник в мастерской, то они смогут восстановить большую печь и...

– И спастись от голода, – сказал Фладд. – Перспективы туманные, надежды мало.

Это предсказание словно доставило ему радость.

* * *

Имогена сказала, что отец должен посмотреть рисунки Филипа, сделанные в Музее Южного Кенсингтона. Филип снова достал альбом, и все полюбовались гибкими драконами и шлемоносными кобольдами с Глостерского канделябра. Филип забрал альбом и карандаш и принял рисовать. Фладд наблюдал за ним. Филип рисовал по памяти подводные силуэты с кувшина из «Жабьей просеки», головастикоподобных созданий, зависших в толще воды между вздывающими прядями водорослей. Филип обнаружил, что неплохо запомнил кувшин. Он

¹¹ Бычью кровь (фр.).

¹² Благодарим Тебя, всемогущий Господь, за этот и все дары Твои... (лат.)

знал, что – может быть, впервые в жизни – намеренно козыряет своим талантом. Фладд должен знать, что Филип умеет видеть, воспроизводить пропорции, запоминать. Рука скользила по бумаге. Очертания рыб, плавающие эмбрионы замерцали и ожили. Бенедикт Фладд засмеялся. Он сказал, что и забыл, насколько хорош тот кувшин. Он сам удивляется, что согласился с ним расстаться, но та очаровательная дама его уговорила. Доббин мысленно спросил себя, а заплатили ли Фладду вообще, но этот мелкий упрек в былом безрассудстве – в любом случае безнадежный – потонул в потоке облегчения и восторга оттого, что горшечник улыбался. Доббин уже давно жил в Пэрчейз-хаузе и знал, что настроение Фладда колеблется по одним и тем же – хоть и непредсказуемым – циклам, от ярости к дружелюбию, от мрачного пассивного отчаяния к нечеловеческим подвигам труда и изобретательности. Существуя меж двумя крайностями, горшечник умудрялся что-то делать, создавать новые сосуды и даже, при некоторой удаче, продавать их, отгоняя голодную смерть. Семья сидела вокруг стола при свете лампы и выглядела как семья – смеющийся отец, заботливо-внимательная мать, две прекрасные дочери, раздающие яблоки, даже Герант, который теперь любовался рисунками. Герант думал о том, что Филип может быть по-настоящему полезен и с ним стоит дружить. Геранту нужен был союзник, чтобы выбраться отсюда. На бесполезного Доббина Герант уже давно перестал надеяться. Но может быть, с Филипом что-нибудь получится.

Комната в Пэрчейз-хаузе было много. Пустых и ветшающих – больше, чем обитаемых. Голая, без ковра, каменная лестница с железными перилами вела на второй этаж; когда-то она, должно быть, выглядела величественно, а сейчас мрачно свивалась кольцами, уходя в темноту. Имогена взяла свечу, повела Филипа наверх и показала ему ободранную комнатку с кроватью, умывальником, небольшим комодом и высоко расположенным окном – настолько высоко, что выглянуть в него не удавалось. Комната слегка походила на монашескую келью. Застилнная постель была накрыта тканым покрывалом с вышитым букетом лилий. Имогена, кажется, не расположена была разговаривать с Филипом и даже стеснялась находиться с ним наедине. Она показала ему ватерклозет – в другом конце лестничной площадки, идти туда надо было мимо нескольких закрытых дверей. Затем она вышла, оставив Филипа с коробком спичек и горящей свечой.

Он лег, думая, что чего-то добился. Несвязный план привел его к горшечнику и, возможно, к работе. Почти проваливаясь в сон от усталости, Филип лежал и думал про Фладдов. Сравнивать их ему было почти не с кем – разве что с семьей из «Жабьей просеки». Виолетта уложила ему с собой ночную рубашку и выданную взаймы одежду, превратившуюся в подарок. В «Жабьей просеке» царили беготня, смех, объятия и чепуховые стишкы, и Филип не знал, что с этим делать, но как-то жалел, что не входит в круг допущенных к волшебству. А здесь все, неестественно затаившись, следили друг за другом – все, кроме самого горшечника, на которого временами находило. Филип узнал это состояние, потому что издалека видел темпераментных художников-гончаров, у которых было то же самое. Филип решил, что Герант ему не нравится, но точно пока не знал. Хотя у Геранта приятное лицо, – наверно, он бы поговорил, если бы было с кем. Артур Доббин хотел как лучше, но Филип, не задумываясь, принял на веру мнение Фладда и Геранта о бесполезности Доббина. Доббин тоже спал где-то в доме. Иногда, если ему удавалось особенно разозлить горшечника, Доббин уходил спать в дом при церкви, к Френку Моллету. Серафита как-то сказала, что рада будет, если он останется переночевать, но это всегда было именно «переночевать», сколько бы Доббин тут ни прожил. Он был гостем, а не членом семьи – Филип понял это, не особенно вникая. Он также понял, что денег у Фладдов мало, а Доббин – единственный, кто хотя бы задумывается о том, как им прокормиться.

* * *

Среди ночи случилось нечто странное. Задвижка на двери поднялась, и дверь со скрипом отворилась. Глаза Филипа привыкли к темноте, к тому же светили луна и звезды. Вошла женщина с распущенными по плечам, струящимися волосами. Она была белая, как костяной фарфор в лунном свете, и совершенно голая. Робко ступая босыми ногами, она прошла по ковру и встала у кровати. Это была Помона. У нее были новенькие, торчащие вверх грудки и – Филип это ясно разглядел – кустик мягких золотых волос на тайном месте. Рот девочки был расслаблен и неестественно спокоен. Она дышала как спящая, и Филип подумал, что она и правда спит, должно быть – ходит во сне. Он не закрывал глаза и лежал совершенно неподвижно. У нее глаза были открытые, невидящие. Филип знал по чужим рассказам и по слухам, что лунатиков нельзя будить. Говорили, что их можно этим убить. Может быть, она сама уйдет. А пока что он в эстетическом наслаждении и нравственных муках разглядывал обнаженное тело, белую кожу. Девочка совершенно неожиданно наклонилась, подняла одеяло, закинула ногу на кровать и скользнула в постель рядом с Филипом, обняв его за шею удивительно плотной рукой, прижалась к нему и свернувшись в клубочек. Ногу она перекинула ему через бедро. Он затаил дыхание. Он понятия не имел, где она спит, так что не мог отвести или отнести ее назад в спальню.

Он ждал. Он почти задремал, так как приходилось лежать неподвижно, дыша неглубоко и ровно. Что, если она проснеться? Но она не проснулась и наконец, по прошествии некоторого времени, спустила ноги с кровати и пошла механическими шагами к двери. Филип прошелся следом и распахнул дверь, чтобы девочка не ушиблась. Но ему было стыдно и страшно.

9

Артур Доббин иногда оставался на ночь у Френка Моллета, в доме священника в Паксти. Он это делал и когда Фладд угрожал ему физически, и когда они с Френком ездили на велосипедах в Рай или Винчелси на какую-нибудь лекцию. Дом Френка был живописный, старый, каменный, с толстыми стенами для защиты от ветра и непогоды, с маленькими окошечками и глубокими каминами. Он располагался при церкви, где Френк был настоятелем. Церковь норманнского стиля была построена в XII веке – тогда здесь был залив, куда приходили огромные волны с Ла-Манша. Церковь была построена на земле, отвоеванной у моря и огражденной насыпными земляными дамбами. В XIII веке эту землю избивали, уродовали и заново перекраивали чудовищные шторма, и море нанесло в Ромнейскую гавань кучи ила, так что многие ранее оживленные порты оказались на суше, потеряв возможность заниматься торговлей. Фермеры вымерли от «черной смерти» в XIV веке, и ряды прихожан сильно поредели. Овцы на болотах были повсюду – они щипали густую траву, блуждали по плоской равнине параллельно горизонту. Из окон с одной стороны дома виднелась стена церкви Святой Эдбурги, с небольшим, заросшим травой кладбищем, мощеной дорожкой, «покойницкими воротами» и чахлыми тисовыми деревьями. С другой стороны дома, где у Френка был кабинет и утренняя комната, открывался вид на болотистые равнины: из окон виднелись травы, овцы, кочки, качающиеся ветром высокие камыши, зуйки и чайки. Именно в этой комнате Доббин провел счастливейшие минуты своей жизни. В Пэрчейз-хаузе завтрак обычно бывал подгорелым, сырьим, черезсур скучным или тем, другим и третьим сразу. В доме священника на завтрак ели яичницу с беконом (яйца пожарены идеально, так что серединка осталась мягкой), теплыми тостами, завернутыми в льняную салфетку, свежесбитым маслом, медом и обильным, крепким, только что заваренным чаем. Доббин особенно любил поедать все это в плохую погоду, когда порывы ветра проносились по камышам, небо свинцовело, а овцы мрачно сбивались в кучку. Доббин воспринимал эти трапезы как священнодействие, но не осмеливался сказать об этом Френку, который совершил настоящее священнодействие, пусть и при немногочисленной пастве.

Они часто обсуждали все, что происходило в Пэрчейз-хаузе. Френк никак не мог понять, почему Доббина до сих пор не отпугнули ни собственная очевидная никчемность как помощника, ни дурной характер Фладда. Но у Доббина была своя религия, он поклонялся человеческому гению. Бенедикт Фладд, единственный среди всех знакомых Доббина, был гением. У самого Доббина не было художественных талантов, но он хотел служить такому таланту и чувствовал, вопреки очевидности, что судьба привела его сюда, задала ему эту задачу. Нищета пейзажа и людей навела его на мысль, что именно здесь надо основать сообщество, которое зиждилось бы на человеческом гении, на создании прекрасных, соразмерных вещей. А потом он нашел Френка Моллета. У Доббина бывали минуты отчаяния, осознания, что он понятия не имеет, куда идти дальше. Френк, которому тоже было одиноко, думал, что Доббин одержим и нерационален, но присоединился к его туманным проектам, потому что общество Доббина было ему приятно, и еще потому, что Фладды были, несомненно, самыми романтичными и самыми неблагополучными из всех его прихожан.

Как-то раз, через несколько недель после появления Филипа в Пэрчайзе, Доббин и Френк завтракали вместе перед велосипедной поездкой в Винчелси – они хотели узнать о новом цикле лекций, устраиваемых местными теософами. Доббин, намазывая хлеб маслом и медом, заметил, что мед особенно ароматен: в нем чувствуется вкус клевера, очень нежный. Френк ответил – впрочем, Доббин это и так знал, – что мед его собственный, от своих пчел. Френк послал с Доббином несколько горшков в подарок Фладдам. Серафита поблагодарила его запиской, написанной круглым, детским почерком.

Доббин сказал, что Бенедикта Фладда преобразило присутствие нового помощника. Они теперь занимались восстановлением малой печи в пристройке и поговаривали о строительстве большой печи с трубой в форме бутыли, с вращающейся решеткой в дымоходе. Филип нарисовал для Фладда, как, по его мнению, должна была выглядеть решетка, и Фладд неподдельно заинтересовался. Конечно, сказал Доббин, если у нас будет большая печь для обжига, придется нанимать еще работников. Сам он мог помочь разве что в роли чернорабочего – например, подсовывать в печь старые шесты из-под хмеля, «под чым-нибудь руководством», горестно добавил он. Но это типичный случай курицы и яйца, сказал он, жуя хрустящий тост с мягким сладким медом. Для расширения производства не было денег, а добить денег можно было только расширением производства. А гончарные печи для обжига, которые Доббин всю жизнь считал устойчивыми, обыденными, надежными орудиями для создания произведений искусства, оказались опасными и непредсказуемыми, как сам Фладд. Можно месяцами рисовать эскизы, «точить» сосуды, декорировать их – но все труды пустят на смарку одна вспышка огня или газа, взрыв пузырька воды в плохо сделанном горшке. Доббин думал, что теперь, когда появился Филип, Фладда можно уговорить сделать несколько горшков поменьше на продажу или изразцов, чтоб хоть на еду заработать. Серафита и дочери, конечно, ткали, но они работали медленно и неуклюже, и вся их работа зависела от Фладда – от того, было ли у него настроение и энергия, чтобы создавать для них рисунки. Сами женщины с этим неправлялись. Друзья часто заводили этот разговор и каждый раз начинали заново перебирать свои наблюдения – удивленно, ошарашенно, словно обсуждая только что сделанное открытие, – о том, как необычно безжизненны и заторможены три женщины, живущие в Пэрчейз-хаузе. Доббин, побывав на празднике Уэллвудов, смог обогатить коллекцию наблюдений, так как видел трех женщин Фладд и в «Жабьей просеке», и в коттедже «Орешек». Он надеялся, что хотя бы в отсутствие Бенедикта Фладда они расслабятся или станут разговорчивей. Но не тут-то было. «Как будто у них сонная болезнь или их кто-то заколдовал», – сказал Доббин, он часто это говорил. Он добавил, что Герант очень хорошо общался с прочей молодежью – мальчиками Уэллвудами, Чарльзом и Томом, юным Джюлианом Кейном и его сестрой Флоренцией. Доббин был счастлив преподнести Фрэнку эту коллекцию новых людей для вдумчивого обсуждения. Фрэнк, конечно, знал Геранта, ну или должен был знать. Священник давал Геранту уроки классической литературы, истории, естествознания, что составляло большую часть образования, полученного Герантом. Ему хорошо давалась математика, а Фрэнку – нет. Он пытался учить Геранта, и Герант смеялся его ошибкам. Фрэнк не стал доверенным лицом Геранта, как надеялся поначалу. Фрэнк был уверен, что Геранту дома скучно и что он озлоблен. Еще Фрэнк, сам не зная почему, думал, что Герант по природе покладист и общителен. В отличие от сестер, Герант подружился с местными юнцами, ходил с ними в лодках на рыбную ловлю, помогал собирать урожай яблок и лука. Герант вольно бегал по равнинам, болтал с браконьерами и лесниками, слушал байки про контрабандистов, какие рассказывали все без исключения местные жители. Фрэнк и Доббин и о Геранте тоже говорили, пытаясь понять, что его ждет, но так и не договорились ни до какого ясного вывода или видимой перспективы. Планировать они не очень умели, иначе больше преуспели бы в жизни.

* * *

Однако Фрэнк Моллет знал о Фладде чуть больше, чем выдавал в непринужденной болтовне с Доббином. Однажды Фладд попросил священника – точнее, настойчиво, отчаянно умолял – исповедовать его. С тех пор прошло уже года два – тогда Фрэнк был куда большим англиканским католиком, чем сейчас, и порой тосковал по загадочности и осязаемости священных таинств, по присутствию святых и ангелов, которые могли удовлетворить его жажду более осмысленной жизни, сделать его дух менее одиноким и скучным. Его церковь, как и большую часть

церквей на Ромнейском болоте, изуродовали во времена Реформации. Статую Девы разбили, каменных ангелов обезглавили и покалечили, хотя призрак фрески, на которой ангелы играли на трубе и псалтири при сотворении мира, еще пятнал восточную стену, прикрытый овальными досками, заменившими картинки на пуританские наставления. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». И из Соломона: «Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих». И из Иова: «Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Болотные пуритане жили в вечном страхе перед огромными текучими массами воды и песка.

Норманнские окна были по большей части разбиты. Фрэнка посетила идея – собрать деньги с прихожан и заказать витраж великолепному художнику, живущему в приходе. Фрэнк нанес визит Фладду и предложил ему заказ, в неопределенных выражениях дав понять, что это лишь начало. Фладд сказал, что у него масса идей – может быть, Дух Божий, носящийся над водами, или древо жизни с золотыми и алыми яблоками. Несколько недель они увлеченно обсуждали эти проекты за пивом, рисовали эскизы мелом, чернилами, акварелью. У Фрэнка Моллета до сих пор осталась пара эскизов. Остальные уничтожил Фладд в остром припадке меланхолии. Однажды Фрэнк зашел к Фладду, как обычно, и обнаружил, что горшечник сидит в своем любимом кресле и неподвижно смотрит в пустоту. Казалось, он почти утратил дар речи и впал в кататонию. Он бормотал: «Я ничего не могу сделать» и «Оставьте меня», а Серафита вошла в кухню и сказала безо всякого выражения – безмятежно? – что ее муж плохо себя чувствует и в течение какого-то времени не сможет работать; она хорошо знает это его состояние и может уверить мистера Моллета, что от его визитов не будет никакого толка, пока Фладд не поправится. Моллет высказал предположение, что у творческих сил, возможно, есть прилив и отлив, как у моря. (Сейчас он не рискнул бы произнести подобную банальность.) Серафита безо всякого выражения согласилась, что это возможно, и встала, подобно статуе, ожидая, пока он не уйдет. Он знал, что должен, как ее духовный наставник, предложить ей помочь, утешение или хотя бы возможность поделиться бременем. Но она смотрела тупо, терпеливо, ожидая, пока он не уйдет, и он ушел. Может быть, выпадет более подходящий случай, сказал он себе. Все это случилось еще до того, как в Пэрчейз-хаузе появились Доббин и беглец Калверт.

* * *

Но однажды, зимним днем, Фладд нашел Фрэнка Моллета в церкви Святой Эдбурги (если совсем точно, Фрэнк стоял на коленях в алтаре, пытаясь противостоять размыванию своей веры или погребению ее под слоем ила). Фладд распахнул дверь, впустив клубящийся порыв ветра, который встрихнул бумаги и всколыхнул алтарный покров. Фладд встал в нефе, побывчивы сгорбив плечи, склонив меж ними крупную голову и не обращая внимания на то, что священник коленопреклонен. И сказал:

– Вы можете меня исповедовать, страха ради смертного?

Фрэнк неуклюже поднялся на ноги. Он боялся. Он был молод и невинен, несмотря на свою хорошенью золотую остроконечную бородку. Он всю жизнь жил в тепличной обстановке и за краткий срок своего священнослужения еще ни разу не сталкивался с настоящими ужасами – только со смертью прихожан да с бессмысленной сварливостью церковных старост и вышивающих молитвенные подушечки дам. Фрэнк мягко сказал, что его церковь – англиканская и исповедь в ней таинством не является. Фладд положил руку ему на плечо, потянул за рукав, заставил сесть в огороженном закутке и сам сел рядом, тяжело дыша. На гончаре был черный халат, словно пародия на подрясник.

– Бог, – сказал Бенедикт Фладд, – ваш Бог, то есть, врывается в мою жизнь и исчезает из нее без предупреждения. То Он кажется невозможным – смехотворным, смехотворным... то жестоко тиранит.

Фладд помолчал.

– Может быть, это как фазы луны. Или времена года на этом шарике – он вкатывается в полосу света и выкатывается из нее, то голые деревья, то снег, то ярко-зеленое покрывало, а потом жара и ослепительное солнце. Только это – нерегулярно и непредсказуемо. А еще есть... другие... те, кто поселяется во мне, когда Он уходит. И они весьма убедительны. Как индуистские демоны, которые по правилам, ими же установленным, одновременно суть боги.

Фрэнк слушал. Он был молод и решил, что это заученная риторика. Он пробормотал что-то в том духе, что нужно крепко стоять в вере во времена душевной смуты, когда душа переживает «семь тощих лет».

– У меня нет воли, – сказал Фладд с ноткой удовлетворения в голосе. – Я лишь поле битвы, и все же я живу, ноги меня носят. Но есть... осколки света, моменты равновесия меж одним состоянием и другим, меж победами бледного Галилеянина и многообразной Жизненной силы. Если вы понимаете, о чем я. Время, когда я могу обозреть то, что «будет или было».

– Да, – сказал Фрэнк.

– Сейчас я именно на таком перевале. Ваш Бог удалился от меня, словно Его никогда и не было. Он не проливает света, ничего не озаряет, вокруг меня лишь густое серое облако или пустая ночь, полная бессмысленных ярких точек, узор которых не имеет отношения ко мне, но пока мне не угрожает. Завтра все изменится. Сегодня я еще могу ясно мыслить.

– Да, – сказал Фрэнк.

– Я расскажу вам, молодой человек, о вещах, которых вы и вообразить-то не можете. Мне нужно облегчить свое бремя. Я хочу рассказать вам о том, как меняюсь подобно волку-оборотню, и, может быть, этим рассказом – освободиться. Я понятно выражаюсь?

– Да, – сказал Фрэнк, которого физически пугало дрожащее рядом крупное тело. – Пока да.

– Может быть, завтра я буду, в вашем понимании, безумцем, – сказал Фладд. – Тогда я сам не буду сознавать своего безумия, но сейчас меня мутит при мысли о нем. Каждое новое их посещение хуже предыдущего. В детстве я не страдал этим. Я был мальчиком-хористом, с головой, отделенной от маленького тельца огромным, безупречно белым крахмальным воротником. Если я по временам и забавлялся со своими крохотными причиндалами, об этом никто не знал и все было очень невинно. И солнце светило все время, круглое и сверкающее, как мой воротник. А потом я начал становиться мужчиной: голос мутировал, воротник у меня отобрали, а тело – вы понимаете – зажило своей жизнью, перестало мне подчиняться. Меня посещали чудовищные фантазии. Мне нравилось охотиться на разных тварей. На живность. Лягушек и кроликов. Я любовно лепил их из глины, а затем столь же любовно и изобретательно уничтожал. Вы понимаете? Вижу, что нет. Я очень правильно выбрал исповедника. Ибо вы порядочный человек и не разгласите моих слов. Я пошел учиться в Школу искусств, и в школе мы рисовали обнаженную натуру – и мужчин и женщин, мышцы, кости, – и я воображал, как открываю эти мышцы и кости, ах, в совсем другом смысле. Предел обнажения. И втайне рисовал это. Я ходил по Хеймаркету, ну вы понимаете, как Россетти, – смотрел на тела, выставленные на продажу, и в конце концов начал вести двойную жизнь, это оказалось совсем не сложно. Я нашел молодую женщину, которая брала деньги за то, что понимала мужчин вроде меня и воплощала в жизнь их фантазии. Я посещал ее все чаще и чаще, и воображал, как мучаю ее все изобретательнее, и любил ее своей светлой стороной все сильней и невинней. С ней можно было говорить обо всем, запретных тем не было, и в ее присутствии... в ее дешевой постели, молодой человек... святой отец... я становился цельным, чистым. Ее звали Мария. Она была для меня Марией Магдалиной, смывающей грехи, и Афродитой Анадиоменой; думаю, она всю

жизнь недоедала – взором художника я видел, что она худосочна, но глазам любовника ее груди представляли шарами млечного мрамора, а пучок волос на лобке – кустами, окружающими вход в Рай Потерянный… и Возвращенный.

Он помолчал. Фрэнк подумал, что Фладд говорит с обдуманным расчетом, что он уже много раз рассказывал эту историю и отшлифовал ее. Возможно, это вымысел или просто *версия* событий. Фрэнк сам удивился, откуда это знает.

– Быть может, мой рассказ вас смущает или возбуждает, молодой человек? Святой отец?

– Нет, – ответил Фрэнк, хотя действительно был смущен и плоть его слегка восстала. – Нет, я здесь для того, чтобы вас выслушать.

– Я, конечно, знал, что я не единственный ее любовник, – продолжал Фладд. – Она занималась своим ремеслом, оно было частью ее «я». Во всяком случае, я так думал. Может быть, она была лишь заблудшей, некорыстной душой, которая из боязни голода и холода продавала мне свое тепло и выслушивала меня, а я думал, что она меня понимает. Я думал о ней по-разному день ото дня, от фазы к фазе моего собственного лунного цикла. Я вознамерился сделать ее своей женой. Я так униженно нуждался в ней. Именно найдя ее, я нашел свое призвание – скольжение пальцев во влажной глине, скольжение пальцев в божественной женской плоти… я лепил сосуды – метафоры для нее и нашей связи: свивающихся в кольца русалок, разворачивающиеся вайи папоротников… о, это все было достаточно невинно, несмотря на ее ремесло и мое безумие.

Он замолчал. В приступе мимолетного безумия Фрэнк задался вопросом: не стала ли Магдалина Серафитой Фладд и не этим ли объясняется ее заторможенная холодность?

Фладд что-то делал – Фрэнк решил, что это он так заламывает руки, и подумал, что никогда раньше не видел такого. Фладд снова заговорил:

– Дальше идет неприятная часть. Вы первый, кому я рассказываю об этом… эту историю. Я пошел повидаться с девушкой в свое обычное время… у меня был ключ, но мы с ней договорились, когда мне можно приходить, а когда нельзя… я поднялся по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки.

Он снова замолчал. Фрэнк ждал, сложив ладони вместе.

– Там стоял запах. Кажется, я заметил его, еще не открыв дверь. Она лежала на кровати. Совершенно мертвая. Сплошные открытые раны и кровь… и кровь. Края лужиц уже застыли, словно глазурь, на бедрах и на линолеуме.

– Да, – сказал Фрэнк, чтобы прервать этот поток.

– Она металась по всей комнате, заливая ее кровью, хватаясь за что попало окровавленными пальцами: отпечатки были повсюду. Я не мог глядеть ей в лицо… оно превратилось в мешанину кровавых кусков…

– Да, – чуть потверже сказал Фрэнк. И спросил: – Что же вы сделали?

– Я отступил, закрыл дверь и вернулся домой. Что я еще мог сделать?

– Вызвать полицию?

– Мне отмщение, говорит Господь. Помочь ей было уже нельзя. А я… заболел, вышел из строя, стал инвалидом.

Он замолчал.

– Это все? – спросил Фрэнк.

– Все? Это ужас.

– Но, судя по вашему собственному рассказу, вы в этом ужасе неповинны.

Как обрести голос исповедника или судьи? У Фрэнка мелькнуло подозрение, что Фладд действительно убил эту женщину в припадке временного помешательства, а теперь лжет или забыл. И другое подозрение: что Фладд все выдумал либо для того, чтобы помучить его, Фрэнка, либо чтобы подкормить страсть самого Фладда к ужасному. Фладд сказал:

— Я не лгу, знаете ли. — А потом: — Я невольно верен ей. Я не люблю свою жену, как обещал. Между нами — крепкие стены. Она красива и заслуживает, чтобы ее желали, но я ее не желаю... не часто желаю. Мне не следовало на ней жениться.

— Сейчас, пожалуй, поздно об этом думать, — сказал священник.

— Она глупа. Ощипанная курица в атласном панцире. Иногда я думаю, что у нее нет души.

— Вы обещали любить и беречь ее.

— Я пытался. Сейчас, может быть, я кажусь вам циником, но я пытался. В нашем доме нет любви. Я не единственный, кто в этом виновен.

— В этом я не судья.

— Я не прошу вас быть судьей. Или вмешиваться. Если бы я думал, что вы, по своему складу ума или характера, способны вмешаться, я бы не стал с вами говорить. Видите, как вас трясет. Вы будете делать вид, что этого... этой исповеди... никогда не было.

— Я полагаю, вы в некотором смысле рассчитывали, что меня затрясет. Чего вы от меня ждете?

— Ничего, ничего, тут никто ничего не сделает. Я пойду домой и опущусь на время в свой личный закуток ада. Я ужасно боюсь... все время боюсь... что когда-нибудь не найду оттуда пути наружу или...

— Или? — подбодрил его Фрэнк.

Но Фладд окончил свою исповедь почти так же внезапно, как и начал. Он встал и побрел вон из церкви, не оглянувшись.

Фрэнк Моллет подумал, что Фладд приходил исповедовать совсем не то, что преподнес под видом этой «исповеди». Несколько недель Фрэнк опасался, что Фладд что-нибудь сделает с собой, с кем-нибудь из родных или посторонних: Фладд боялся чего-то, что ждало в будущем, и рассказал о чем-то случившемся в далеком прошлом. У него действительно началась очередная полоса меланхолии — он то ругался, то бил горшки, то отправлялся в долгие одиночные прогулки по галечному пляжу Данженесса, размахивая руками и крича в небо. Фрэнк Моллет робко пытался навещать Серафиту, чтобы «помочь ей выбраться из своей скорлупы», а она безжалостно отпускала светские реплики относительно погоды, варенья или слуг и ждала, пока Фрэнк не уйдет. Из-за черной меланхолии Фладда страдала и учеба Геранта. Ему хуже давалась арифметика. И переводы с латыни. А потом в один прекрасный день — так, по крайней мере, думал Фрэнк, поскольку, естественно, не присутствовал при этом, — Фладд встряхивался, возвращался в мастерскую и принимался перебивать глину.

* * *

В очень жаркий летний день Фрэнк и Доббин поехали на велосипеде в Винчелси, чтобы обсудить подготовку к циклу лекций, которые должны были пройти в Лидде осенью, когда дни станут короче. Друзья выбрали путь через Уоллендское болото, вдоль Кэмберских песков, которые занесли утонувший город Старый Винчелси, словно его и не было на свете. Они обогнули залив Рай и понеслись мимо Кэмберского замка вдоль равнин, держа курс на холм, на котором городок Винчелси с его средневековой планировкой отстроили заново в XIII веке. Друзья собирались навестить мисс Пэтти Дейс, которая жила в домике с видом на полуразрушенную церковь Святого Фомы-мученика и мирное кладбище с древними покосившимися надгробиями на зеленой траве. Этот домик, как и многие другие постройки в Винчелси, напоминал белые, обшитые досками дома Новой Англии. Перед домиком располагался маленький ухоженный садик.

Мисс Дейс уже ждала и открыла сразу, не успели они и постучать. Ей было за сорок: костлявая, мускулистая, со свирепым лицом, крючковатым носом, высокими скулами и глубоко посаженными темными глазами, над которыми сидели брови, напоминающие мохнатых гусе-

ниц. Волосы выглядели так, словно она, не жалея сил, завивала их щипцами, но на самом деле вились от природы, как будто в хозяйке текла негритянская кровь. Мисс Дейс не любила сидеть без дела. Она выполняла обязанности секретаря во многих группах: местных теософов, местных фабианцев, театрального кружка Винчелси и округа, кружка акварелистов, а также группы суфражисток. Когда-то она преподавала в лондонской школе для девочек, а потом недолго работала помощницей альманария в больнице. Она активно боролась за то, чтобы замужних женщин и женщин, не владеющих домами, допустили к участию в местном самоуправлении и в комитетах помощи беднякам. В прошлом году либеральное правительство отменило имущественный ценз для участия в комитетах помощи беднякам и разрешило замужним женщинам выдвигать свои кандидатуры. Мисс Дейс была счастлива. Она сама выдвинула свою кандидатуру и проиграла замужней женщине – миссис Фебе Метли, жене писателя Герберта Метли, купившего небольшую ферму возле Ист-Галдфорда. Мисс Дейс воспитали в христианском духе. Она старалась не разочаровываться, не обижаться и обратила все силы на укрепление местной культурной жизни. Она хранила у себя фабианские книжные ящики, полные развивающих, полезных книг (их присыпали из Лондона). Она организовывала лекции для фабианцев, для теософов и для смешанных групп тех и других. До недавнего времени она также, через некое объединение, называемое Христотеософским обществом, пыталась организовать дискуссии об эзотерической духовной жизни и особенно о женском аспекте христианской духовности. Пэтти Дейс желала большей полноты жизни и предполагала, что ответ кроется в теософии. Она с возмущением прочитала на страницах «Люцифера» страстную обличительную тираду против отношения христианства к женщинам. Тирада была написана самой госпожой Блаватской и изобиловала цитатами из Библии и Отцов Церкви: о том, что женщина – суд диавольский, шипение змеи, опаснейший хищник, скорпион, аспид, дракон, дочь лукавства, страж ада, враг мира. Госпожа Блаватская указывала также на то, что в Новом Завете «слова „сестра“, „мать“, „дочь“, „жена“ служат лишь для обозначения нравственного падения и бесчестия».

Феминистка, теософка и социалистка Пэтти Дейс после долгих споров с отпавшей христианкой Пэтти Дейс заклеймила и отвергла ее ностальгию по Церкви. Это поставило Пэтти в неловкое положение: теперь она видела некое двуличие в своем общении с Фрэнком Моллетом, вместе с которым ей так приятно было выбирать лекторов и рекламировать лекции. Как ни странно, ей не стало бы легче, если бы она узнала, что и сам Фрэнк порой ощущает: его вера воздвигнута на зыбучих, подвижных песках. Мисс Дейс хотелось, чтобы Церковь *была*, как те огромные, древние, незыблевые средневековые здания на болотах, чтобы Церковь *была* реальной, даже если сама мисс Дейс полностью порвала с ней.

* * *

Она приветствовала молодых людей, напоила чаем с дороги и угостила домашним печеньем. Их комитет снял общинный зал в Лидде, где к аудитории, состоящей из местных писателей, учителей и лавочников, должны были присоединиться офицеры и солдаты из ближнего гарнизона. Мисс Дейс надела очки и сказала Фрэнку, что, может быть, нужно придумать название для этого цикла лекций. Доббин ответил, что сначала надо найти хороших лекторов, а потом уже придумывать название. В «Жабьей просеке» Доббин смущался и был не в своей тарелке, но задним числом понял, что ему выпала редкая честь и удача – познакомиться с удивительным народом в маскарадных костюмах. Ему хотелось бы снова с ними встретиться – с Хамфри и Олив, Тоби Юлгриром и Августом Штейнингом, анархистами и лондонским профессором, который работал с профессором Гальтоном над вопросами социологической статистики и наследственности. Доббин сказал, что, будучи в Андресдене, услышал чрезвычайно

интересные вещи о фольклоре и древних обычаях. Может быть, мисс Дейс придумает что-нибудь на эту тему.

Мисс Дейс ответила, что ее больше интересуют перемены. Она хотела, чтобы лекции были посвящены новому – новой жизни, новой женщине, новым формам искусства и демократии. И религии, добавила она, храбро глядя на Фрэнка.

Фрэнк отхлебнул чаю и задумчиво сказал, что это противоречие лишь кажущееся. Ибо многое из нового обращается к прошлому за поддержкой. Теософы, к примеру, прибегают к мудрости тибетских наставников. Социализм Уильяма Морриса берет пример со средневековых гильдий и сообществ. Идеи Эдварда Карпентера о том, что надо сбросить удушливую респектабельность викторианской семьи, также обращаются к прошлому, к тем временным, когда люди жили в гармонии с природой, как часть ее. То же самое можно сказать о вегетарианцах, о противниках вивисекции – они добиваются уважения к естественной, животной жизни, характерного для времен, предшествующих технической цивилизации. И в искусстве тоже. Бенедикт Фладд, например, хочет вернуться к древнему ремеслу горшечника-одиночки и заново открыть потерянный секрет красных глазурей – турецкой из никской, китайской *sang-de-boeuf*. Общество исследования парapsихических явлений заново открыло древний мир духов и утраченные первобытные возможности человеческого общения. Старые суеверия могут привести к новому духовному прозрению. Даже Новая Женщина, рискнув отчасти пошутить он, ищет свободы от корсетов и кружев не только в рациональном платье, но и в свободных, развевающихся средневековых одеждах. Работа женщины вне дома кажется чем-то новым, но настоятельницы монастырей в старину имели власть, управляли сообществами людей, как ныне – руководители колледжей. Может быть, любой шаг в будущее опирается на пристальный взгляд в прошлое. Фрэнк чуть не вызвался сам прочитать лекцию на эту тему.

Есть особое эстетическое наслаждение в составлении учебного плана, сборника эссе, курса лекций. Образы, тени людей и мыслей можно переставлять как угодно, словно кусочки цветного стекла в витраже или шахматные фигуры на доске. Комитет обдумывал, что ему хотелось бы услышать и как уравновесить различные темы. Доббин предложил пригласить Августа Штейнинга, чтобы тот поделился своими мыслями о новом театре, выходящем за пределы реализма, в древнее искусство кукольного театра. Все согласились, что надо позвать Тоби Юлгрива, чтобы он рассказал о связи современного фольклора с древними верованиями наших предков в волшебный народец. Решили также пригласить Эдварда Карпентера, чтобы он рассказал о своих чаяниях касательно мужчин, женщин и новооткрытого им «среднего пола». Раздавались имена: Бернард Шоу, Грэм Уоллес, Беатриса Уэбб. С тех пор как госпожа Блаватская в 1891 году «отбросила уже негодное физическое орудие», «изношенную оболочку, которую носила в течение этого воплощения», место лидера теософов, оспариваемое многими, заняла Анни Безант, умевшая убедительно, энергично и успешно говорить о секуляризации, контроле рождаемости и фабианском социализме. Какое-то время комитет воображал себе ее лекцию. Потом Пэтти Дейс неохотно сказала, что, видимо, миссис Безант сейчас слишком занята насущными проблемами Теософского общества и вряд ли захочет приехать для чтения лекций на Ромнейское болото.

Мисс Дейс предложила провести лекцию о проституции и о несправедливо разном отношении общества к мужчинам и женщинам. Комитет подумал и решил, что предлагать подобные идеи аудитории, в которой будет так много военных, не совсем разумно. Может быть, миссис Уэллвуд сможет прочитать лекцию о современных детях и современной детской литературе; это более безопасная тема. Все торопливо согласились, что мистер Фладд по своему темпераменту не предназначен быть лектором. Может быть, кто-нибудь из Музея Южного Кенсингтона расскажет о декоративно-прикладных искусствах и их будущем.

Все, даже Доббин, знали, что цикл лекций никогда не воплощает всей элегантности и глубины первоначального замысла. Лекторы отказываются от участия, лекции проваливаются.

Приходят одни и те же люди, на которых можно положиться, и говорят одно и то же. Одна из лекций будет посвящена огородничеству, и читать ее будет миссис Уолзи. Вместо Бернарда Шоу придется выпустить тощего и пугливого студента, который понятия не имеет, как говорить с военными. Они перешли ко второй стадии планирования – списку запасных, надежных лекторов.

Пэтти Дейс сказала, что, по ее мнению, нужно пригласить Герберта Метли. У него твердые убеждения, и он умеет вдохновить слушателей. Она один раз была на его лекции в Рае – а это значит, что его, может быть, удастся уговорить. Она не могла припомнить в точности, чему была посвящена та лекция, но помнила, что лектор ее заворожил. Должно быть, это было как-то связано с высвобождением своего инстинктивного «я», или как там. Все слушатели воспрянули духом и воодушевились.

Фрэнк сказал, что никогда не встречал мистера Метли, но роман «Болотные огни», любезно подаренный мисс Дейс, произвел на него большое впечатление... очень большое. Затем Фрэнк прочитал книги «Великан на холме» и «Бел и дракон», которые тоже оценил весьма высоко. Он будет счастлив и познакомиться с мистером Метли, и послушать его лекцию.

Пэтти Дейс пытливо посмотрела на него. Он кротко улыбнулся в ответ. Он не знал, что подарок имел целью испытать его веру. Его вера действительно подверглась испытанию. Но он считал, что мисс Дейс не должна знать, насколько сильно. На самом деле Фрэнк постоянно думал об этой книге. Она словно придала его сомнениям ощутимую форму.

Главный герой отчасти походил на самого Фрэнка – одинокий священник, настоятель вымышленной автором церкви на болотистых равнинах, с редеющей паствой. Герой книги, которого звали Гэбриел Меткалф, влюбился в женщину по имени Берта, или завлек и обманул ее, или был ею околдован. Он встречался с Бертой по большей части во время прогулок у ручейка, на природе. В образе Берты было что-то от зелени, от природы – автор очень ловко создавал у читателей соответствующее впечатление, мимоходом описывая игру солнечных лучей в ее светлых волосах, или ее глаза, или тени на нежной коже. Фрэнк не был особенно чувствителен к женской красоте, и Берта не соответствовала ни одной из его фантазий. Он скорее счел ее воплощением – символическим или действительным – дриады, бузинной матушки, охранительницы цветов и ягод. Она была совершенна и неуловима. Что задело Фрэнка за живое, так это описание отношений между церковью и пейзажем. В мире, созданном Метли, церковь, изможденная, похожая на скелет, была жесткой оболочкой вокруг безжизненного пространства. Духовная энергия вся вытекла или вернулась в окружающую землю, в болотистые равнины и воду. Деревья, казалось, ходили, гневно махали руками, говорили нечеловеческими голосами, скрипели и стонали. Болотные огоньки мерцали, собирались в хороводы, снова разбивались, образуя змейки света, бегущие по своим делам, пронзая вечернюю тьму. Еще мальчиком Фрэнка потрясло ощущение древней силы у Вордсвортса, затаенной в утесах и валунах, неизмеримой человеческим временем. Метли учился у него: огромные камни срывались, как допотопные чешуйчатые чудища, с краев солоноватых озер и возвращались обратно. Холмы нависали и надвигались медленно, неодолимо. Раскрывались трещины, превращаясь в ловушки. Вся земля была одержима неким духом – равнодушна либо враждебна; разве что неудовлетворительная Берта была задумана автором как путь, через который можно войти в природу или обрести в ней гармонию. Гэбриел Меткалф не выдержал испытания; он все реже выходил за пределы церкви и обнесенного стеной кладбища. Гэбриел в романе потерял ощущение божественности Христа и видел в Нем лишь «доброго еврея, убитого давным-давно в Палестине». Эта фраза попала Фрэнку Моллету в самое сердце. Он узнал ее, и это узнавание было ему отвратительно. По временам он ощущал, что его собственная церковь, как и описанная в романе, окружена враждебными элементами, которые теснят ее, заглядывают в замочные скважины, бормочут что-то и ждут своего часа. Фрэнк вовсе не жаждал знакомиться с

автором. Но он не любил проваливаться на испытаниях. Он сказал, что они с Артуром могут зайти к мистеру Метли и обсудить с ним эти планы.

Пэтти Дейс воскликнула, что это замечательная мысль. Она подумала секунду-другую и добавила, что Метли – страстные садовники, обожающие свою ферму. Если они не отвечают на звонок в дверь, их обычно можно найти в огороде за домом.

* * *

Они в дружелюбном молчании проехали по дороге на Ист-Галдфорд и наконец оказались на ферме «Уонгсум», такой маленькой, что и фермой не назовешь, хотя места в ней хватало на несколько овец, стайку уток, пару коз и плодовый садик. Дом был приземистый, с небольшими окошками и плохо пригнанной дверью. Друзья позвонили в колокольчик и, когда никто не ответил, последовали совету мисс Дейс, обогнули дом, пересекли плохо стриженный газон с крохотным прудиком для уток и через калитку в стене вышли в огород.

Они пробрались меж высоких шестов с сетками, по которым вились горох и фасоль, и оказались в центре огорода. Из-за этих посадок, закрывающих обзор, друзья буквально наткнулись на чету Метли – совершенно внезапно, в закрытом со всех сторон пространстве, в центре, откуда лучами расходились дорожки. Супруги Метли сидели бок о бок на траве, Герберт держал книгу, а его супруга Феба лущила горошек и бобы в дуршлаг, стоящий у нее на коленях.

Оба были совершенно голые. И в очках.

Все взорвались друг на друга.

Ни Артур Доббин, ни Фрэнк Моллет за свои взрослые годы не видели обнаженных женщин, хотя Фрэнку иногда приходилось навещать больных и умирающих дам, которые лежали в одних пропотевших, сбившихся сорочках.

Носы, шеи и запястья супругов обветрились и покраснели от солнца. Остальное тело у обоих было поджаро и бледно. Герберт Метли был брюнет, с тонкими растрепанными волосами и роскошной черной порослью под мышками и вокруг расслабленного члена; жилистый, с худыми, но мускулистыми руками и ногами, с редкими, жесткими выщипанными волосами на груди. У Фебы Метли были светлые, песочного оттенка, волосы, завязанные широкой лентой в узел. Груди – первое, что бросилось в глаза, словно заслонив все остальное тело. Они стелились уплощенными холмиками по грудной клетке; соски, розовые, как цветы шиповника, были не выпуклые, а втянутые. Затем друзья увидели, что у нее на лобке тоже растут волосы, ярче, рыжее, чем на голове, и отвели взгляды. На длинной шее Фебы уже начали проявляться морщинки. Большие глаза еще больше увеличивались стеклами очков – если бы друзья увидели Фебу одетой, возможно, именно глаза они заметили бы в первую очередь. При появлении гостей Феба вздрогнула и уронила дуршлаг, который стоял у нее на коленях. Твердые ярко-зеленые шарики гороха и серо-зеленые бобы в форме человеческой почки раскатились по земле и по телу.

Как ни странно, ни Фрэнк, ни Доббин не ощутили необходимости отступить или бежать в панике. Герберт Метли непринужденно сказал:

– Вы нас застали за принятием солнечных ванн. Мы – солнцепоклонники. Мы это делаем при каждом удобном случае, а июнь выдался палящий.

Фрэнк Моллет пробормотал: ему сказали, что их можно найти в саду. По врожденной осторожности он умолчал о том, кто именно ему это сказал. Он вспомнил, что у мисс Дейс в глазах играл огонек.

Феба Метли перекатилась на бок, чтобы собрать горох и бобы. Доббин почувствовал, что обязан помочь ей, и еще – что ему следует отвернуться. Он не сделал ни того ни другого. Фрэнк Моллет сказал:

– Может быть, нам лучше зайти в другой раз. Мы хотели пригласить вас участвовать в наших осенних лекциях. Мы надеялись, что вы сможете...

Герберт Метли встал, уверенно держась на босых ногах, протянул руку к складной табуретке и взял с нее какие-то сложенные одежды, которые оказались двумя вышитыми халатами вроде кимоно. Он протянул один халат жене, которая встала и привычно вдела руки в рукава. Завязав пояс, она опустилась на колени и стала дальше собирать горох и бобы.

– Первые люди в райском саду были счастливей, когда еще не познали стыда, – сказал Герберт Метли. – Идемте в дом. Расскажите мне, что у вас там за лекции.

В голосе его звучал северный акцент, который Фрэнк, уроженец «шести графств», не мог опознать. Доббин понял только, что Метли родился много северней его родного Шеффилда.

Они гуськом прошли в дом через заднюю дверь. Феба Метли замыкала шествие с дуршлагом, напоминающим атрибут средневекового святого на картине. Она пошла на кухню готовить чай. Герберт Метли предложил друзьям присесть в низкие кресла из планок, в стиле Движения искусств и ремесел. После палящего света в саду комнаты, казалось, была наполнена дымной темнотой. На резном столе стояла ваза с букетом полевых цветов. Доббин рассказывал Герберту Метли про задуманный цикл лекций, а Фрэнк ненадолго погрузился в мысли, не зная, следует ли поблагодарить за «Болотные огни» или хотя бы сказать, как эта книга его тронула. Он решил, что не стоит. Он понял: его раздражает то, что этот человек в халате, с наэлектризованными черными волосами, в большей степени, так сказать, владеет воображаемыми скалами, камнями и кустами бузины, чем он, читатель. Фрэнк подумал, что читателям нельзя встречаться с писателями. Это противоречит какому-то главному замыслу.

Он выпал из краткого забытья и услышал, что Метли предлагает прочитать лекцию «на какую-нибудь тему вроде „Элементы язычества в современном искусстве“, или даже „Элементы языческого в современном искусстве и современной религии“». Фрэнк сказал, что именно на это они и надеялись. И добавил с наигранной небрежностью, что ему очень нравятся книги мистера Метли. Мистер Метли выразил свой восторг. Он спросил, читал ли Фрэнк его последнюю книгу «Поймай яблоко». Он будет счастлив преподнести Фрэнку экземпляр. Метли нашел книгу и аккуратным почерком надписал ее. Человек в воротничке священника осторожно улыбнулся человеку в халате с алыми маками и серебряно-золотыми хризантемами на голое тело.

* * *

На обратном пути Доббин сказал:

– Кажется странно, что если бы мы сбежали, то проявили бы гораздо более дурные манеры. Очень странно, что именно из вежливости нам пришлось стоять и глядеть на них.

Фрэнк ответил, что мир меняется. И согласился, что скрыться было бы гораздо невежливей, чем остаться на месте. Доббин вспомнил свой краткий визит в Дербишир к Эдварду Карпентеру: воздушные ванны и речные купания в обнаженном виде – и спросил, отважится ли когда-нибудь Фрэнк принимать такие солнечные ванны. Фрэнк ответил, что нет. Еще немного подумал и добавил, что человеческое тело без одежд непривлекательно. Он раскраснелся от усилия, с которым налегал на педали. Болотные овцы, неспешно шествуя по равнине, щипали соленую траву. Доббин сказал, что день получился плодотворный. Фрэнк согласился.

II. Золотой век

10

Помещение молочной отличало для мастерской гончара. Печь для обжига стояла в отдельной комнате, прежней судомойне; труба выходила наружу через крышу из шиферной черепицы. В молочной были полки из шифера, с ящиками под ними, много разных встроенных шкафов и еще чулан, где когда-то охлаждались масло и сыворотка, а теперь стояли горшки, дожидаясь кожетвердого состояния или нанесения глазури. Окошки были маленькие, глубоко посаженные. Их было два, и под каждым стояло по гончарному кругу – один большой с ножным приводом и один простой, который крутили руками. Рядом с каждым гончарным кругом стоял доильный стульчик и ведро. В окна были вделаны круглые витражные медальоны. На одном красовался гривастый рогатый морской змей в кобальтовых волнах, на другом – белый шлюп под парусами, не то летящий по волнам, не то терпящий бедствие. К двери был пришиплен рисунок в натуральную величину, изображающий человека эпохи Возрождения: в камзоле, чулках и плаще, все – алого цвета, и в плоской бархатной шапочке. Он стоял рядом с большой вазой.

Филип очень осторожно принялся наводить порядок. Он подмел мусор и сложил в аккуратную кучку те части взорвавшейся печи для обжига, которые еще годились в дело. Филип был тактичен: он знал, что можно переставлять, а на что надо просить разрешения. В некоторых ящиках лежали спутанные клубки проволоки – металлы для опытов с глазурью, их он не стал трогать. Новую глину он положил в баки, стоящие в чем-то вроде угольного сарая, – на них указал ему Фладд, который поначалу задержался в дверях, настороженно следя, что Филип станет делать. Филип протер гончарные круги и нашел тряпку, чтобы прикрыть глиняный раствор. Фладд сказал:

– Ну что ж, можно заняться печью. Нужно осторожнее делать раствор. Прошлый был слишком грубым. Он взорвался в нескольких местах и повредил горшки.

Филип кивнул. Он знал про взрывы. Он даже кое-что посоветовал, пока они заново выкладывали топочные отверстия и смотровые окошки для пиromетрических конусов. Он залез на крышу – Фладд держал лестницу – и починил трубу в том месте, где она выходила из шифера. Оттуда он увидел на другом конце двора какое-то сооружение с толстошеею трубой – то была хмелесушильня, но Филип этого не знал. Спустившись, он спросил у Фладда, что это. Эта штука слишком широкая для гончарного горна, хотя сначала, увидев такие в деревнях, он решил, что это бутылочные печи. Фладд объяснил, как в Кенте растят и собирают хмель и варят пиво. Он сказал, что топят печь прошлогодними шестами для хмеля: они здесь попадаются в изобилии, достать их легко. Филип сказал, что в такой штуке можно сделать чертовски здоровую печь для обжига. Фладд ответил:

– Может, и можно. Но тогда и ты, смотри, делай горшки.

Филип ухмыльнулся от радости, и Фладд ухмыльнулся в ответ.

* * *

На протяжении следующих недель они, стараясь не давать воли надеждам, делали горшки. Сначала Филип выполнял только работу подмастерья. Он перебивал глину – это занятие сродни замесу теста; нужно выбрать из плотной массы все пузырьки воздуха и капли воды. Филип прекрасно знал: если этого не сделать, пузырек размером с утиное яйцо расширится

и лопнет во время обжига, вызвав малые или большие взрывы, которые могут погубить всю партию посуды. Глина была по большей части местная. С холма Рай – ярко-красного цвета, а с болотистых равнин – с примесью песка. Фладд показал Филипу на один мешок с красноватой глиной и заметил, что это тот самый прах земной, в который мы все обратимся, глина с кладбища, где ее залежи особенно богаты. Фладд посмотрел на Филипа, ожидая его реакции, и Филип опять ухмыльнулся. Как и сказал Фладд, это была хорошая, крепкая глина.

Фладд выписывал (с доставкой по железной дороге) бледную жирную глину из Дорсета для изготовления ангобов и смешивал ее с красной, чтобы получить более легкую консистенцию. Филип научился толочь эту глину, продавливать через сито и смешивать с водой. Он научился вертеть глину в глиномялке с лопастями, стоявшей там, где раньше была маслобойка. Он научился смешивать глины для горшков, а затем и глазури. Фладд, как и большинство гончаров, не торопился выдавать свои рецепты. У него были contadorские книги в кожаных переплетах, он запирал их в ящике, а записи вел кодом, основанным на англосаксонских рунах и греческих буквах, которых Филип разобрать не умел. Обычными гилями для взвешивания Фладд тоже не пользовался – вместо них в мастерской были изготовленные им шары из высущенной глины, пронумерованные от одного до восьми. Филип смешивал оловянные глазури, свинцовые глазури; как противоядие от свинца ему давали молоко в кружках. Он смешивал сурьму, марганец и кобальт. Еще ему приходилось работать с веществом, называемым «булавочная пыль». Ее делали из медного порошка, оставшегося при изготовлении булавок, и она шла на зеленую глазурь.

* * *

Настал день, когда Фладд пригласил Филипа сесть у гончарного круга и «выточить» горшок. Фладд отцентровал глиняный шар, Филип возложил на шар угловатые ладони и надавил посередине. Бурая глина побежала поверх пальцев, словно и они становились глиной, гладкой и однородной, или же сама глина становилась плотью, отращивая собственные пальцы с живыми костяшками и подушечками. Глина под пальцами начала расти и выросла в тонкую цилиндрическую стенку, которая поднималась выше и выше, словно по собственной воле. Она ровно вращалась, изборожденная следами пальцев, – выше, выше... и вдруг хлопнула, зашаталась, и форма обрушилась в бесформенность. Филип хохотал, задыхаясь. Фладд тоже расхохотался и показал ему, как заканчивать формовку, как узнавать форму, к которой стремится глина. Он сказал, что многие мастера-горшечники никогда сами не формовали горшки, а лишь украшали их. «Разве можно не想要 почувствовать глину на ощупь?» – спросил Филип. Фладд сказал, что у Филипа руки гончара. Он занял место Филипа и выточил высокий кувшин с журавлиной шеей, широкое глубокое блюдо, стакан, которому всегда есть место в хозяйстве, и приземистый кувшин со смешным горлом. Филип перепробовал все эти формы, и скоро они у него уже, как правило, получались. Он не переставая смеялся про себя. Фладд благодушно улыбался. Казалось, все его дурное настроение куда-то пропало. Фладд преподнес Филипу толстый альбом для рисования и сказал на ухо, выкруживая и оглаживая мокрую глину, что Филип может приходить лепить горшки когда захочет.

* * *

Филип не очень-то доверял добродушию, накатившему на художника. Но не строил предположений. Он заметил – хоть и не вникал в причины – вечный настороженный страх (во всяком случае – боязливость) у странно инертных женщин семейства Фладд. Он заметил презрительное отчуждение Геранта и то, что под ним крылось, – хоть и не смог бы объяснить, что именно заметил. По-видимому, Фладд, даже в хорошем настроении, не имел склонности

к светским беседам. В отличие от «Жабьей просеки», здесь никто не ожидал разговоров за столом и предполагалось, что после еды все сразу расходятся в разные стороны. Как-то раз Фладд объявил, что Филипу нужна еще одежда, чтобы ту, в которой он ходит, можно было постирать. Фладд, судя по всему, не сомневался, что этот безадресный приказ будет выполнен. И действительно, сверток с одеждой появился – но лишь трудами Доббина и Френка Моллета; часть вещей принадлежала им, а часть была пожертвована прихожанами: рыбакские носки и куртка, серые и голубые рабочие блузы. И еще один рабочий халат – носить, пока халат Тома Уэллвуда в стирке. Филип наткнулся на Помону, которая, сидя на террасе перед домом, переделывала манжеты и пришивала пуговицы. Филип запротестовал. Она сказала: «Честное слово, это лучше вечного вышивания цветочков». Она говорила очень тихо, с приподыханием. Филип сказал, что умеет шить, но Помона велела ему молчать и приложила к нему рубашку – померить. Из двери вышла Имогена со стаканами ячменной воды и сказала Филипу:

– Если ты сможешь ему помочь – так, чтобы работа была сделана, чтобы выходили горшки… и продавались… мы все будем у тебя в неоплатном долгу.

Филип ответил, что надеется: скоро – ну, относительно скоро – им хватит горшков на пробный обжиг.

Филип и Фладд были оба молчаливы, каждый по-своему, и в следующие несколько недель обсуждали только вес глины, лучшее место для сушки блюд, цвета глазурей или почему у Филипа горшки выходят неправильно. Фладду не приходило в голову расспросить подмастерье о его прошлой жизни или о семье, а сам Филип ничего не рассказывал. Он также редко задавал вопросы и далеко не сразу спросил про рисунок, прикрепленный на двери. Он, кажется, видел его в Музее Южного Кенсингтона. Это возможно? Фладд сказал, что, действительно, такое могло быть. На рисунке изображен Палисси, великий французский гончар, это копия изображения с «Кенсингтонской Валгаллы» в Южном дворике музея.

– А, да, – сказал Филип. – Я видел блюдо… с жабами и змеями… дома у майора Кейна. Он сказал, что это подделка.

Фладд ответил, что Музей ужасно ошибся, купив современную копию блюда Палисси, которой цена не больше десяти шиллингов, за тысячи фунтов. Он добавил, что ошибиться было легко: подделки были просто удивительно похожи на работу Палисси. А что, Филипа интересует этот горшечник? О да, ответил Филип, которого интересовали горшки. Фладд начал рассказывать Филипу героическую биографию Бернара Палисси. Он рассказывал частями – живыми, насыщенными эпизодами, в такт вращению колеса, хлопкам и стуку перебивания глины, царапанью и шороху комков, продавливаемых через сито. Это походило на обряд посвящения: образцовая история о том, что значит по-настоящему работать с глиной, быть совершенным художником. Фладд рассказывал низким голосом и делал частые паузы между фразами, обдумывая свою речь. Филип тоже погружался в раздумья. Он учился.

Он узнал, что Палисси, как и сам Фладд, жил на соленых болотистых равнинах и был человеком труда; он рисовал портреты и выучился также росписи по стеклу. Он был беден и честолюбив, и однажды ему показали «глиняную чашку итальянской работы, сформованную и покрытую эмалью, – такой красоты», что Палисси возжалдал научиться этому искусству: «Нужды нет, что я ничего не знал о глинах; я начал искать эмали, ощупью, как шарят в темноте».

Фладд отклонился от темы:

– Нечто подобное случилось и со мной. Выбор – меж тем искусством и этим, той жизнью и этой – делается не разумом. Для меня все решило итальянское майоликовое блюдо, золотое, индиговое, покрытое арабесками и чем-то вроде тени на свету…

Филип сказал:

– Я видел ваш водяной кувшин в «Жабьей просеке». Конечно, я уже искал, я вырос с глиной, но тот кувшин я *увидел*.

Он никогда в жизни не говорил ничего столь откровенного. Фладд в это время расписывал горшок кистью из гусиного пера, обмакнув ее в марганец. Он поднял голову, посмотрел прямо на Филипа и улыбнулся, увидев серьезное молодое лицо.

— Это род безумия, — сказал он. — Палисси был безумцем, а если по-моему, так он был здоровей всех, и ты увидишь... если останешься... что я тоже безумец. Когда ветер дует не с той стороны, меня заносит не туда. Если можно так выразиться. Ты увидишь, я тебе заранее говорю. А вот если хорошо дунет откуда надо и землица хорошая подвернется, тогда меня бросает в перфекционизм.

Он рассказал, как, увидев *одну-единственную чашку*, Палисси бросил все силы на поиски совершенства и искал, пока не открыл *чисто-белую* эмаль, которую можно было наносить на глину. У него была жена и много детей, и он долгие годы жил в нищете, экспериментируя со смесью металлов, с тинктурами, которые знал по работе со стеклом, нанося смеси на сотни и тысячи черепков, относя их к местным горшечникам или стеклодувам для обжига. И вечные неудачи. Фладд расхохотался, словно залаял, и заметил, что неудачи при работе с глиной полнее и зрелищней, чем в любом другом искусстве. Гончар — раб стихий, говорил Фладд. Любая из четырех — земля, воздух, огонь, вода — может нанести удар: расплавить, взорвать, разнести на осколки, обращая месяцы труда в прах, пепел и свистящий пар. Нужна точность естествоиспытателя, нужно уметь играть с игрой случая, преображающей в пламени горна любовно выведенныебо тобою поверхности.

— Это очищающий огонь и в то же время демонический, — сказал он Филипу, который вбирал в себя каждое слово и серьезно кивал. — Очень опасный, очень первозданный, очень стихийный...

Палисси на время оставил свои поиски и обратился к иным вещам: к природе соли, или солей, к тому, как потребляют соль растения, как они потребляют навоз и как все это связано с солью... к постройке искусственных соляных болот... «на землях прочных, вязких и липких, как те, из коих делают кирпичи, горшки, изразцы».

Он любил землю, сказал Бенедикт Фладд. Работал с землей и любил ее. Не боялся испачкать руки — и тем самым развивал ум.

В другой раз Фладд рассказал о титанической борьбе Палисси за открытие белой глазури. Он в лицах изобразил четырехчасовое ожидание Палисси у стеклоплавильной печи, где обжигались три сотни черепков, пронумерованных и покрытых каждый своей смесью химических веществ. Вот печь открывают. На одном из черепков смесь расплавилась, его вынимают, он черный и светится. Палисси смотрит, как черепок остывает. Мысли горшечника тоже черны. Но, остывая, черный черепок белеет — становится «белым и гладким», выходит белая эмаль «непревзойденной красоты». Палисси становится новым человеком, возрождается. В этой глазури он смешал олово, свинец, железо, сурьму, марганец и медь.

Палисси готовит побольше смеси — пропорций он, конечно, никому не открывает, — наносит ее на партию посуды для обжига, снова разжигает собственный горн и пытается поднять температуру до той, какая бывает в печах у стекольщиков. Он работает шесть дней и шесть ночей, подбрасывая связки хвороста, но эмаль не желает плавиться и приставать к глине.

— Он потерял всю первую партию, — рассказывал Фладд. — Он пошел купил новые горшки, заново смолол состав для смеси и трудился еще шесть дней и шесть ночей. В конце концов ему пришлось подкидывать в печь содранные с пола половицы и пустить на дрова кухонный стол. И все же обжиг оказался неудачным, Палисси считали безумным алхимиком или фальсификатором, и он дошел до крайней нищеты. Он работал еще восемь лет, построил новую печь для обжига и потерял целую партию тончайших глазурованных изделий, потому что в растворе печи были осколки кремня: они разлетелись и разбили все горшки.

— Но в конце концов, — сказал Филип, — в конце концов он нашел эмаль и сделал горшки.

– Он работал для королей и королев, он создал проект райского сада и проект неприступной крепости. Он ненавидел алхимиков – знал, что они гоняются за несуществующим. Он любил наблюдать за ростом растений, строить догадки о том, как поднимаются из недр земли горячие источники и пресные. У него была своя теория землетрясений, неплохо обоснованная, – он хорошо понимал, как земля, воздух, вода и огонь могут двигать горы...

– Что с ним случилось?

– Он был протестантом. Он не принял учения Церкви и не желал отречься от своей веры. Его посадили в тюрьму и приговорили к смерти как еретика. Его должны были сжечь за отказ, как он сам выразился, поклониться глиняным изображениям. Так и не отступившись, он умер в Бастилии. Ему было семьдесят девять лет. Я дам тебе книгу профессора Морли, в ней можно про это почитать.

Филип выразил опасение, что от книги ему будет мало проку. Он не так уж хорошо читает. И добавил, краснея:

– По правде сказать, я читаю просто плохо. Разбираю самые простые слова, и все.

– Это не годится, – сказал Фладд. – Так не пойдет. Имогена поучит тебя читать.

– Ой нет...

– Ой да. Ей все равно заняться нечем. А ты, не умея читать, далеко не уедешь. И тебе понравится книга про Палисси.

* * *

Имогена покорно согласилась давать Филипу ежедневные уроки чтения. Она сказала, что ей раньше не приходилось учить и она не знает, как это делать, но постараётся. Они с Филиппом садились за столик в саду или на кухне, если с Ла-Манша дул ветер. На Имогене было одно из двух или трех неизменных платьев – бесформенных, с неровной горловиной, расшитых ирисами и лилиями, на которые, Филип чувствовал, когда-то падали крохотные капельки крови из исколотых иголкой пальцев. Он также заметил – поскольку был молод и был мужчиной, – что под мешковатыми складками скрывается крепкое, соразмерное тело. Кончиками пальцев гончара он думал об очертаниях ее грудей, круглых и полных. Вокруг нее не было даже намека на атмосферу женственности – ни аромата духов в волосах, ни запаха кожи, ни тайных влажных испарений, – но Филип был слишком молод, чтобы знать, до чего странно такое отсутствие. Когда она сидела рядом, склонив над страницами голову в короне тяжелых волос, он думал, что она похожа на керамических Мадонн из Музея. Кроткая безмятежность. Это была не совсем точная формулировка.

На первых двух уроках Имогена писала для него слова струящимся каллиграфическим почерком. «Яблоко» и «хлеб», «дом», «мастерская» и «сад». Затем она решила, что ему полезнее читать связные тексты, и принесла красивую книгу волшебных сказок, иллюстрированную штриховыми рисунками самых разных художников, включая Берн-Джонса и Бенедикта Фладда. Это была пестрая смесь из произведений Гриммов и Андерсена, Шарля Перро и поэтов, даже «Леди Шалотт» Теннисона. Филип боялся, что ему подсунули детскую книжку, но, увидев иллюстрации, успокоился. Это был мир сцен из «Сна в летнюю ночь», поставленных в «Жабьей просеке». Вдохновленный злобными чертениями Фладда, Филип экспериментировал с ручками кувшинов, придавая им формы змей и драконов. Он прочитал «Золушку», «Спящую красавицу», «Принцессу на стеклянной горе» и «Принцессу на горошине», «Храброго портняжку» и «Стойкого оловянного солдатика» и наконец – «Леди Шалотт» и «Снежную королеву». Он учился писать – у него хорошо получалось, поскольку он и раньше умел обращаться с карандашом и пером. Он учился рисовать воображаемых людей, подражая струящимся одеждам и волосам персонажей Берн-Джонса.

Это было не совсем то, чего Филипу хотелось. Не его стиль. Иллюстрации к «Снежной королеве» нарисовал Фладд. У его королевы было длинное острое лицо и печальная улыбка в вихре снежинок над озером, где громоздился лед. Ей прислуживали уродливые чертенята, а крохотный Кай скрючился у ее ног, как спящая улитка. Узор линий завораживал и пугал. Филип хотел научиться этому – и сделать что-то свое.

Сказки – к добру или к худу, служа познанию или ведя к беде – научили его описывать окружающих. Имогена была Спящая красавица: она уколола палец и ходила во сне. Кроме того, Филип представлял себе Имогену недообожженной керамической фигурой из бисквитного фарфора, еще не глазуренного и не раскрашенного, – бледный набросок, первая попытка создать живое существо. Герант, который старался как можно реже бывать дома, был Аскеладден, Пепельный, он странствовал по свету, ища удачи. Помона была всеми дочерьми-золушками у очагов, печальными и нелюбимыми. Она еще два раза приходила к Филипу в кровать и напугала его до полусмерти. Что делать, если она вдруг проснется и увидит, где она?

Имогена никогда не касалась Филипа даже случайно. Помона постоянно дергала его, оглаживала его халат, трогала покрытые глиной руки, становилась у него за спиной, когда он сидел за столом, и ерошила ему волосы. Никто не комментировал ее манеру, и Филипу стоило многих трудов притворяться, что ничего не происходит.

Он вывел для себя еще две опасные аналогии, почти одновременно. День ото дня он постепенно наводил порядок в кладовых горшечника, расставляя горшки и мешки, подметая и моя полы. Филип обещал себе, что, когда научится красиво писать, снабдит все предметы этикетками. Мастерская заняла большую часть той половины дома, где когда-то жили слуги. Это было не важно, поскольку никаких слуг тут уже не держали, кроме старухи с болот, которая приходила убираться – медленно, словно поскрипывая, – и ее дочери, которая помогала со стиркой. Филип обнаружил запертый чулан. Он спросил у Фладда ключ, и Фладд отрезал, что ключа нет. Филип вспомнил об этом за чтением «Синей Бороды». Он сам заметил, что в сказках люди всегда делают то, что им не велели делать, и ходят куда не велено. Филип не мог понять почему и даже не собирался лезть, куда ему не велели. Но – может быть, из-за «Синей Бороды» – эпизод с чуланом показался ему странным.

Как-то раз на кухне, убиная книгу на место после чтения, он увидел Серафиту, которая возвращалась с одной из нечастых вылазок во внешний мир.

Она шла к дому мелкими шажками, очень медленными, очень ритмичными, словно едва касаясь травы и гравия дорожки. В отличие от дочерей, Серафита одевалась очень старательно. На ней было белое платье, украшенное фиалками, и сиреневая шаль. Муслин струился с высокой кокетки платья; корсета на Серафите не было, только простой фиолетовый кушак, перехвативший платье. Блестящие на солнце волосы были уложены кольцами на голове и пришпилены шелковыми фиалками. Серафита глядела прямо перед собой, мечтательно и рассеянно, сложив губы в хорошенъю, застывшую полуулыбку. Филип подумал, что она словно скользит по нetaющему вечному льду или катится на невидимых подшипниках или колесиках. Она вошла в дверь и прошествовала мимо Филипа все с той же застывшей улыбкой, поприветствовав его наклоном длинной шеи, столь мимолетным, что Филип засомневался, не привиделось ли ему. Она ему кого-то напомнила. Он понял кого. Марионетку Олимпию из блестящего представления Ансельма Штерна. Олимпия-автомат – марионетка, игравшая марионетку, в то время как остальные куклы изображали подобие жизни.

Он не знал, чем обычно занимаются дамы: надо полагать, ходят друг к другу в гости, на приемы, за покупками, ездят на прогулки верхом, играют в теннис. Только не Серафита. До обеда она ходила, сидела в своем кресле с приятным выражением лица, глядя перед собой, потом немножко шила, немножко ткала, еще немножко сидела неподвижно и так доживала до ужина. Насколько Филип мог судить, она иногда по целым дням не произносила ни слова. Когда он прочитал про леди Шалотт, над которой висело проклятье и которая видела мир

только в зеркале, он представил себе Серафиту Фладд, ее большие зеленоватые светящиеся глаза. Но леди Шалотт негодовала и желала чего-то; она бросилась к окну и распахнула его. Миссис Фладд и не думала никуда бросаться.

* * *

Еще одна странность Фладдов заключалась в том, что все они ходили гулять на природу, но исключительно поодиночке.

Герант водился с шайками юнцов на Болотах. Когда Филип сталкивался с этими юнцами, они старались его избегать или, если их было несколько, сбивались в кучку поодаль и дразнили его. Герант даже не попытался представить Филипа своим знакомым мальчикам и вообще едва с ним разговаривал. Фладд уходил на целые дни, завернувшись в kleenчатый плащ, взяв узловатую палку-посох и натянув до самых бровей широкополую шляпу. Он никогда не звал Филипа с собой. Имогена ходила в Лидд, а порой ездила на велосипеде в Рай или Винчелси за продуктами и швейными припасами. Помона иногда ездила с ней. Они не приглашали Филипа – он думал, что они не желают его общества, но им просто не приходило в голову его позвать. Он подождал несколько недель, пока почерк у него не стал получше, и написал осторожное письмо домой. Подождал еще немного и спросил у зашедшего Доббина, как отправить письмо. Доббин объяснил, что почтовая контора есть в Лидде, и дал Филипу марку. Потом спросил Филипа, не хочет ли тот прогуляться с ним до Лидда пешком или позаимствовать у Фладдов велосипед. Имогена сказала, что, конечно, можно взять ее велосипед. Доббин спросил, удалось ли Филипу посмотреть окрестности, и тот ответил, что не выходил из усадьбы.

– Даже моря не видел? – спросил Доббин.

– Нет, – ответил Филип. – У меня рабочий день не обозначен и жалованье тоже вроде как... Так что я все время делаю что могу.

Доббин сказал, что Филип обязательно должен пойти к морю с ним и со священником. Не может такого быть, что он все время нужен в мастерской, сколь бы интересной ни была его работа. Доббин спросил Серафиту, и она ответила, что, разумеется, Филип должен время от времени выходить, но нужно спросить у мистера Фладда. Спросили Фладда, и он сказал, что, конечно, Филипу надо посмотреть на море. Он смугленький парень. Он сам знает, когда ему можно уйти. И когда нельзя, он, конечно, тоже знает.

* * *

И Филип пошел с Фрэнком Моллетом и Доббином в приморскую деревушку Димчерч. В Димчерче был волнолом, противостоящий вечному напору бурной соленой воды, и этот волнолом нужно было перелезть, чтобы добраться до пляжа или хотя бы его увидеть. Все трое полезли вверх по узкой лестнице, и Фрэнк с Доббином благосклонно смотрели, как их подопечный из срединных графств первый раз знакомится с морем. Был безветренный, солнечный день, и волны мирно морчили водную гладь, одна за другой набегая на песок. Филип костями ощутил эту массу воды и внутренне переменился, но не знал, как сказать об этом, и стоял с невозмутимым видом. Фрэнк и Доббин ждали. Через некоторое время Филип сказал, что море большое. Они согласились. Он отпустил какое-то замечание про запах соли и резкие крики чаек. И подумал: уже очень давно никто не ждал, чтобы он вслух сказал, чего хочет или что делает, – ему приходилось лишь молча чувствовать или делать. Филип знал, что должен познакомиться с морем сам, без посторонних. Дети плескались у кромки воды. Филипу стало интересно, каково море на ощупь, но тело само шарахнулось прочь. Фрэнк и Доббин пошли вместе с Филипом вдоль берега, и Филипу стали лучше удаваться ожидаемые от него восхищения интереса и восторга. Он подобрал водоросль, заинтересованный ее текстурой и тем, как лопа-

ются подушечки, наполненные соленой водой. Подобрал несколько хрупких розовых ракушек и длинную узкую раковину морского черенка. Фрэнк и Доббин были в восторге. Они проводили его обратно в деревню, купили ему хороший обед в харчевне «Корабельная» и рассказали кучу историй о контрабандистах, но Филипа гораздо больше интересовала текстура морской глади и водорослей. Фрэнк Моллет спросил, есть ли у Филипа бумага для рисования и карандаши. Филип сказал, что нет, – он извел все те, что были у него в Музее. Мистер Фладд подарили ему альбом для рисования, который он тоже извел. Фрэнк повел его в мелочную лавочку в Лидде и купил ему новый альбом – не очень хорошего качества, с серой и слишком рыхлой бумагой, но все же это была бумага. Затем они отвели Филипа домой.

На обратном пути в дом священника в Паксти Фрэнк спросил Доббина, не беспокоит ли его положение мальчика в Пэрчейз-хаузе. Филип, кажется, тяжело работает и ничего не получает за свою работу. Никому не приходит в голову, что ему, может быть, что-то нужно, какие-то вещи. Доббин сказал, что Филип нравится Фладду. Подумав, он добавил, что, может быть, Филип вообще единственный, кто нравится Фладду. Доббин выразил надежду, что Филип сможет поставить работу мастерской на деловую ногу, чтобы она приносила хоть какие-то деньги. Тогда Фладд сможет платить Филипу. А они должны следить за благосостоянием мальчика.

* * *

Вернувшись в мастерскую, Филип рассказал Фладду, что ходил смотреть на море. И добавил, что надеется еще пойти. Почему бы и нет, ответил Фладд, и добавил, что Филипу надо сходить в Данженесс, ему там будет интересно.

Филип отправился в Данженесс пешком, в жаркий летний день. Дрок сиял золотым светом, морская капуста покрылась кругленькими семенами, которые сначала были бледно-зелеными, а потом постепенно приобретали костяной цвет. Данженесс – одновременно мрачный и плодородный край, это самая длинная непрерывная полоса гальки в мире, ее продувают морские ветра, западные и восточные. Здесь живут люди: на розоватых, выбеленных стихиями галечных берегах лежат вытащенные лодки, а по берегу стоят странные, черные, как сажа, деревянные рыбакские хижины, вокруг которых скапливаются верши для омаров, якоря, сломанные весла, сети. Можно выйти на мыс по каменистой пустоши, которая на самом деле полна странной жизни, животной и растительной, процветающей и страдающей от резких крайностей здешней погоды. В конце мыса большая каменная осыпь нависает над галечным пляжем, где море постоянно затягивает гальку обратно в темную волну, перемешивает и швыряет куда попало. Между охряно-розовыми камнями прорастают водоросли с фантастическими оборками, рюшами – листьями, пурпурными, темно-зелеными, сине-зелеными. Филип увидел цветы синяка обыкновенного, шипастые и синие. Они показались ему зловещими (возможно, из-за названия). Он знал эти цветы по лугам Страффордшира, но здесь они показались ему синее и живее. Он видел сантолины, алые маки и заросли розовой валерианы. Все это было очень красиво и столь же мимолетно: зимой все исчезнет, как и не бывало.

Филип, ступая почти благоговейно, прошел по камням к усыпанному галькой берегу, краю земли. В первый раз – а Филип приходил сюда еще многажды – он спешил к воде, лишь краем глаза глянув на скопленный людьми мусор и упрямо растущие овощи. Филип никого не встретил. Это было его приключение, и он ощущал, что это место принадлежит ему одному. Дойдя до конца, он вскарабкался по каменной осыпи – камни хрустели под ногами, грозя увлечь его снова вниз, так что он поднимался медленно и с усилием. С вершины этого шаткого нагромождения открывался вид на море. Филип стоял под солнечным небом и видел, что море темно и глубоко, с заплатами, сморщенными ветром, противными течениями, тянувшими туда и сюда, а волны набегают на берег, шевеля и перемалывая камни. Филип подумал, что хорошо бы поглядеть на море в бурю, если удастся устоять на этой куче. Он был на самом краю Англии.

Он думал о пределах, о границах и еще вспомнил о Палисси, который изучал соленую воду и пресную тоже, земные источники и ручьи. Филип никогда не раздумывал о том, что земля круглая, что он стоит на искривленной поверхности шара. А здесь, видя горизонт и сознавая шаткость своей опоры, Филип вдруг мысленно увидел всю землю: огромный шар, летящий в пространстве, покрытый по большей части этой вот водой; шар удерживает ее, но она постоянно движется, пряча в своих темных глубинах другую землю, холодную, и песок, и камень, куда не проникает луч света и где, может быть, живут какие-то твари, погружаются в толщу, пожирают друг друга, — Филип не знал про них ничего, да, может, и вообще никто не знал. Круглая земля, с земляными холмами и долинами под слоем воды. Быть живым и стоять под солнцем было приятно и немножко страшно.

Он сел на гальку, которая оказалась теплой, и съел принесенные с собой хлеб, сыр и яблоко. Он решил, что надо взять отсюда камушек. Это древний инстинкт — подобрать один камень там, где их много, разглядеть его, придать ему форму, дать ему душу, которая связывает человека с массой бездушных камней. Филип все подбирал и бросал камни: в одном манило темное пятно, в другом — жилка блестящего кварца, в третьем — сквозная дырочка. Он поднимал камень, разглядывал, клал обратно, терял, подбирал другой. Камень, на котором остановился Филип — уже почти с раздражением, потому что число подобранных и отвергнутых камней его пугало, — был яйцевидный, с белыми полосками и просверленными не насеквоздь узкими ходами, норками. Убежищами для крохотных тварей — песчаных паучков или червей не толще волоса.

Филип долго рисовал — листья морской капусты, прозрачную крабью скорлупу, кусок выбеленного плавника — просто ради удовольствия смотреть и учиться. Он все время украдкой поглядывал на воду, не изменилась ли она, и она все время менялась. Он сам чувствовал, что изменился, но проверить было не у кого.

* * *

Он часто приходил сюда, освоил и новые маршруты путешествий по Болотам, открыв для себя норманнские церкви, возвышающиеся над гладями соленой воды: от затопления их спасали дамбы и канавы. Как-то раз с высоты каменной кучи, в ветреный день, он увидел согбенную фигуру Бенедикта Фладда, который пробирался вдоль края воды, шаркая по камням и удерживая руками шляпу. Кажется, он орал на море. Филип его не окликнул и потом не упоминал об этой встрече.

* * *

Он рисовал, рисовал, рисовал.

* * *

Когда альбом заполнился, Филип пошел к Бенедикту Фладду и показал ему рисунки для керамики на основе этих набросков, которые, как он думал, могли пригодиться для изразцов. Он решил, что можно создать серию. Со сплошным узором из морской капусты и другим — из спутанных водорослей, по форме похожих на ключи, с тугими воздушными пузырьками. Тончайший, словно кружевной, узор выкрystаллизовался в голове у Филипа, когда он увидел в болотах за фэрфилдской церковью Святого Фомы Бекета нашествие комаров-долгоножек, длиннокрылых, углоногих, хрупких.

Он нарисовал геометрическую сеть, составленную из их соприкасающихся тел. Другую – из бледных шариков, семян морской капусты, каждый на своем стебельке, третью – из кружевной зелени фенхеля. Филип заинтересовался приемом, при котором внутренняя геометрическая структура природных форм используется для создания новой стилизованной геометрической структуры. Он разметил рисунки для изразцов, как мог, мягким карандашом на серой лохматой бумаге. Он сказал Фладду, что умеет прокалывать карандашные рисунки и это можно использовать для повторения рисунков на необожженном бисквите до глазирования. Но он не умел делать глазурь. Он знал про «булавочную пыль», которая давала цвет зеленого горошка, и про разные вещи, которые можно делать с марганцем. Но не знал, как получить серовато-голубовато-зеленый оттенок толстых листьев морской капусты. Или призрачный цвет комаров-долгоножек, который, как отважился сказать Филип, будет хорош поверх кобальтовых цветов или, может быть, болотной зелени.

Фладд сказал, что у Филипа хороший глаз. Еще он сказал, что бумага паршивая и рисовать на такой – только портить рисунки. Филип ответил, что у него другой нет. Фладд открыл шкаф и сунул Филипу несколько альбомов для рисования и коробку с разномастными перьями и карандашами. Он сказал, что да, они вполне могут сделать партию изразцов. Попробовать глазури.

* * *

Когда набралась партия на обжиг, они загрузили печь и бодрствовали всю ночь, подкармливая огонь плывником и пилеными шестами из-под хмеля. Герант, вопреки обыкновению, вызвался помочь. Его захватывало напряженное ожидание у огненной пещеры, и он был заинтересован в успехе предприятия. Обжиг и остывание неожиданно удались. Изразцы возникли из печи – синие, золотые, зеленые, алые, с дандженесскими узорами – серыми, черными, жженой умбры паутинками поверх ярких цветов; и другой ряд – на кремовой глазури алые, синие и медно-зеленые узоры. Филип был зачарован. Помона сказала, что изразцы очень хорошенъкие. Герант спросил, можно ли делать больше изразцов? Намного больше?

– Это не так сложно, – ответил Фладд.

– Их можно продавать. Поставлять кому-нибудь. Архитекторам, вообще людям. Из них выйдут прекрасные каминны. Тогда у нас будет постоянный доход.

Геранту было только пятнадцать лет, но он все время беспокоился, почти злился, оттого что у них не было постоянного дохода. Герант упомянул про изразцы в разговоре с Фрэнком Моллетом, прия к нему на урок истории. Герант спросил, не знает ли Фрэнк кого-нибудь, кому нужны изразцы для отделки дома или церкви. Если бы эти изразцы можно было где-нибудь выставить... в Рае, Винчелси, Лондоне, откуда Геранту знать? Он знал только, что наверняка можно придумать что-нибудь.

– Мой отец такой непрактичный, – сказал Герант. – Он художник, он творит то, что хочет, а не то, что покупают. Но эти изразцы, которые сделал Филип, они очень красивые, и папа сказал, что их можно наделать сколько угодно. Папа говорит, что они очень оригинальные. Не знаю, может, и так. Но я знаю, что они понравятся людям. Но как люди их увидят?

Фрэнк и Доббин обсудили этот вопрос с Герантом за обедом. Именно Доббину пришла в голову блестящая идея – подключить к решению проблемы мисс Дейс. Она знает людей, которые согласятся выставить у себя несколько изразцов – это будет очень изящно смотреться – в эркерных окнах, или витринах художественных галерей, или даже в витринах модных магазинов. В конце концов, может быть, они и своей витриной обзаведутся. Может быть, даже откроют выставочный зал в Лондоне. Доббину вспомнилось лето и «Жабья просека». Он сказал, что там был Простер Кейн из Музея Южного Кенсингтона. Доббин сам видел в Музее работы Бенедикта Фладда, восхитительную вазу и что-то вроде блюда. Не поможет ли им майор

Кейн? Когда сам Доббин только появился в Пэрчейз-хаузе, он надеялся создать здесь коммуну художников – вроде коммуны Эдварда Карпентера, но другого типа, собранную вокруг гончарного искусства. Если все пойдет хорошо, сказал Доббин, деликатно обходя вопрос сложного характера Фладда, может быть, майор Кейн пришлет им какие-либо средства, студентов-помощников и посоветует, где найти заказчиков для новой продукции?

Герант сказал, что все будет зависеть от Филипа Уоррена – от того, сколько продержится новое положение вещей. Ведь это Филип снова запустил печь для обжига и создал изразцы.

Доббин выразил уверенность, что Филип останется, если для него будет работа.

– И еда, – сказал Герант, – и даже жалованье. Кажется, об этом вообще никто не думает. Мои родители считают, что думать о деньгах – вульгарно. Они считают себя выше этого... но я знаю, что у них просто нет денег. Действительно нет. Им не на что купить глины, они задолжали фермеру за молоко и яйца, и мне приходится совершенно омерзительно флиртовать с лавочницами, чтобы выпросить хоть немного чаю, кофе или мяса.

Вдруг он просиял:

– А что, если предложить мяснику несколько изразцов для витрины? В обмен на мясо. Я вегетарианец не потому, что мне так хочется. Я люблю мясо.

11

В ноябре 1895 года Олив Уэллвуд была в тягости. Она сидела за столом в своих обычных просторных одеяниях, все еще скрывавших ее положение от гостей и самых младших детей, и пыталась писать. В «интересном положении» это всегда было трудно: сидящий внутри незнакомец словно высасывал из нее энергию и нарушал ритм слов и фраз, строящихся в крови и в мозгу. Ее тянуло просто сесть у окна и смотреть наружу, на газон, словно шелущащийся мокрыми опавшими листьями, на деревья... На них остался лишь один-другой багряный лист, подумала она и хоть как-то утешилась шекспировским ритмом, но зато почувствовала себя старухой. Утешила ее и недвижная плотность окружающих стеклянных плоскостей, полированной мебели, ровных рядов книг, волшебных древес жизнин, вытканных яркими нитями на коврах под ногами. Олив так и не привыкла, что владеет этими вещами, так и не научилась видеть в них лишь домашнюю утварь. Они по-прежнему были для нее менее реальны, чем выгребные ямы Голдторпа. Она смотрела на них, как Аладдин и принцесса на дворец, воздвигнутый джинном из пустоты. Олив пыталась писать сказку под названием «Надежный, как дом» – в чем была определенная ирония, поскольку дома вовсе не надежны: взять, например, глупые домики трех поросят из соломы и прутьев или библейский дом, построенный на песке. Дома строились на деньгах, а Хамфри поссорился с богатым братом и бросил надежную работу среди слитков золота в банке на Треднилл-стрит. Изобретательный ум Олив уже начал крутить так и сяк банки с клерками и стеклянные банки, солому, песок, прутья и обтесанные квадратные камни из карьера, но сказка не шла, она была не готова, и Олив была не готова обживать свой страх – страх остаться бездомной.

Олив любила «Жабью просеку» не меньше, чем любого из своих родных, включая Хамфри и Тома. Думая об усадьбе, Олив всегда представляла ее двояко: осязаемые, созданные мастерами стены, двери, окна, трубы, лестницы – и мир, созданный самой Олив в «Жабьей просеке». Он проникал усадьбу насквозь, прятался под ней – воображаемый, взаимопроникающий мир, с тайными дверями, ведущими в туннели, пещеры, иной мир под зеленым холмом фей. Олив воображала, что ее дом стоит на ужасающем слое подземных камней и руд – кремня и глины, угля и сланца, базальта и песчаника, а через них змеятся реки и ручьи холодной воды и сверкающих рудных жил – жидкого серебра и золота: Олив всегда представляла их жидкими, как ртуть, хотя и знала, что на самом деле это не так.

Наверное, у каждого писателя есть фразы-талисманы, воплощающие силу, внутреннюю природу писательства. Свой талисман Олив позаимствовала из баллады о верном Томасе, которого забрала к себе под гору королева эльфов:

Через потоки в темноте
Несется конь то вплавь, то вброд.
Ни звезд, ни солнца в высоте,
И только слышен рокот вод.
Несется конь в кромешной мгле,
Густая кровь коню по грудь.
Вся кровь, что льется на земле,
В тот мрачный край находит путь.

Она хотела бы написать об этом – о том, как переходят вброд потоки крови... о тьме, в которой не видно солнца и луны, о реве морских вод... Но так и не написала, потому что ее сказки, хоть и становились все мрачнее и страннее, все же были предназначены для детей. В последнее время стали популярны сказки в христианском духе – про образцовую кончину

образцовых детей, жаждущих как можно скорее присоединиться к ангелочкам, играющим в догональки на пушистых облачках в Царствии Небесном. Ничего похожего на кровавую реку коню по грудь. Олив мимолетно подумала о подступающих родах, о будущем потоке крови, о крутящей и сжимающей боли, о том, что, может быть, незнакомец, которого вынесет наружу этим потоком, окажется неподвижной, пятнистой, плотно смягившей веки восковой куклой, как Рози. Олив знала, что плод плавает в околоплодной жидкости, а вовсе не в крови, но он ведь питается кровью, ее кровью, через мертвенно-белый шланг, который дает жизнь, но может и удушить. О таких вещах не говорили и не писали. Оттого они все сильней казались и более настоящими, и более призрачными одновременно.

Она обязана была писать. От этого зависело само существование «Жабьей просеки». Хамфри продал несколько статей о «лордах Рэнда», о нищете в Ист-Энде, о том, насколько желательно было бы передать всю землю в общинную собственность. Он давал курсы лекций в Манчестере, Танбридж-Уэллсе, Уайтчепеле; один курс – по шекспировской Англии, вместе с Тоби Юлгривом, один – о местном самоуправлении и один – по британской истории. Хамфри был счастлив, но зарабатывал куда меньше, чем в банке. И к тому же он днями и неделями не бывал дома. Олив воображала, как на него пляются молодые женщины, сидящие на жестких стульях в муниципальных залах, – так когда-то смотрели на него и они с Виолеттой. Олив была этому и рада, и не рада. Она не любила, чтобы ее трогали во время беременности, и была почти счастлива, когда Хамфри как-нибудь отвлекался. Но всегда оставалась опасность, что он чересчур «отвлечется», дело дойдет до публичного скандала, любовь Хамфри к ней пошатнется – и надежный дом окажется в опасности.

* * *

Когда Олив не хватало идей, она нехотя обращалась к тайным сказкам, принадлежащим Тому, Дороти, Филлис и Гедде, переписывала куски этих сказок, упрощая их, слаживая, причесывая под общую гребенку, чтобы годились в печать. У Олив не было явного уговора с детьми о том, что это их личная тайна, которая должна оставаться неприкосновенной. Сказки – это сказки, говорила себе Олив, они бесконечно пересказываются и меняют форму, как разрубленные червяки, как разветвляющиеся потоки воды или металла. Она и для сказок детей брала кое-что у других сказочников – ее собственный Томас-рифмач встречал королеву эльфов в юбке из шелка зеленой травы, а злобный крот из мира зверей-оборотней в сказке Дороти родился из детского страха самой Олив перед «Дюймовочкой» Андерсена. Иные фрагменты она использовала по нескольку раз, порой переделывая до неузнаваемости, порой не изменяя ни слова. Одна из завязок «Тома под землей» была написана чуть погодя – в самом первом варианте сюжет начинался со встречи Тома с королевой страны эльфов. Может быть, из этой части получится сказка, которую можно продать; Том будет морщиться, а Олив будет уговаривать его, скажет, что это совсем другая сказка, и признается ему, как женщина мужчине, в ужасном кризисе наличности.

* * *

Она взяла перо и начала писать на чистом листе. Кровь, обкрадывая спящего внутри жаждущего незнакомца, отхлынула из сердца в голову, в пальцы, которые радовались работе. Начнем с младенца. Младенец в сказке иногда оказывался принцем, иногда отважным сыном шахтера. Сегодня Олив решила выбрать принца.

Жил-был малютка-принц, долгожданное и всеми любимое дитя, и все считали его – может быть, потому, что его рождения так долго ждали во дворце, – безупречно прекрасным и замечательно умным. У принца был приятный характер, – видимо, его не удалось избаловать, –

и он умел сам себя занимать, когда его оставляли одного, но это случалось редко, разве что по ночам. У двери детской спальни, снаружи, дежурил стражник, ибо, как обычно, злая фея напророчила, что у принца что-то украдут. Его звали Ланселин, написала Олив, вычеркнула и снова написала, так как ничего лучшего или вообще другого у нее не придумалось.

По ночам детская Ланселина превращалась (как большинство детских) в пещеру, полную теней. Тени – загадочные существа. Они и настоящие и ненастоящие, у них и есть цвет, и нету. Когда луна бросала свой свет через окна в каменных стенах, она освещала отдельные части отдельных предметов. У Ланселина была погремушка – бородатый и рогатый божок, одетый в козью шкуру, которая ниже пояса переходила в перламутровую ручку, чтобы Ланселину удобно было держать. Руки божка были простерты вверху, а с пальцев свисали цепочки бубенцов – золотых и серебряных, словно металлические пузырьки, но в лунном свете золото и серебро превращались в какой-то совсем другой металл, лунный, сияющий, грифельного цвета. Ланселин любил поднять погремушку-человечка и вертеть ее в лунном свете так и сяк, чтобы бубенцы звенели, а тень руки Ланселина с тенью игрушки в бесплотных пальцах падала на стены. Ланселин умел делать свое второе «я» большие или меньшие, длиннее или короче, заставлял его возникать на белом покрывале или идти волнами на прутьях кроватки. Ланселин мог сделать тень гуще, темнее, словно она втянула в себя всю тьму, плотно рассевшись на подоконнике. Или превратить ее в продолговатого серопепельного жестокулирующего демона, держащего в руках всю комнату. У тени не было глаз, не было рта, прутья кроватки резали ее на части. Ланселин умел сделать так, чтобы его стало двое или трое, и помахать руками теневым рукам, которые махали в ответ.

В ночной детской были и другие тени, и бесстрашный мальчик часто приглашал их в игру. Тени прятались в темных провалах между мебелью, и легко было представить себе, что мебель – живая, со светящимися в темноте глазами, если повернуть голову так, чтобы лунный свет упал на позолоченные ручки ящиков. А в углах стояли высокие неподвижные тени, которые нетрудно было заметить и сквозь которые легко было смотреть.

Вы, должно быть, подумали, что Ланселин был необычным мальчиком, раз не боялся теней. Все мы видели в узоре сучков на двери гардероба злобные морды, а в тенях ветвей на потолке – ведьм, которые машут руками на ветру, тянут к нам длинные цепкие пальцы.

Но Ланселин не боялся; тем поразительней приключившаяся с ним история.

Что-то шевельнулось в темноте, в углу у плинтуса. Ланселин смотрел туда и смеялся, но оказалось, что, когда он мотает головой, форма этого сгустка тьмы не меняется; немного спустя сгусток двинулся вперед, и Ланселин увидел, что эта темнота – плотная. Она была гладкая и блестящая, покрытая темным мехом, отражающим лунный свет. У нее были маленькие бледные ступни с острыми когтями и трепещущая мордочка с усиками. И длинный бледный голый хвост, который извивался и скользил по полу позади существа. У существа были светящиеся глазки с маленькими алыми зрачками.

Оно подходило все ближе и ближе, и Ланселин уже готов был с ним поздороваться. Он любил заводить друзей. Тварь встала на задние лапы, легко проскочила меж прутьев кроватки и присела у ног Ланселина. Тот издал

вопросительный звук. Тварь открыла рот, показав ряды желтовато-белых зубов, острых, как иглы. Она опустила голову и принялась терзать и грызть. Она терзала не хорошенъкое белое покрывальце с вышитыми цветочками, а невидимые швы, прикреплявшие тень Ланселина к подошвам и пальцам ног. Он мог бы коснуться мягкого меха на голове твари, занятой своим делом, но боялся острых зубов – они издавали звук стригущих ножниц. На самого Ланселина тварь не обращала совершенно никакого внимания. Она отгрызла тень по всем швам и скатала ее, уминая и крутя, в небольшой узелок. Схватила его, бесшумно спрыгнула с кроватки и канула в темноту. Ланселин поднял руку в лунном свете. Она не отбросила тени. Ни на одну стену. Словно Ланселина вовсе и не было в комнате.

На этом месте Олив остановилась в прошлый раз. Она никак не могла придумать, что же случилось дальше. Нужен был четко оформленный сюжет, в противоположность бесконечному течению подземной реки Тома. Младенец не мог побежать за крысой в темноту. Что сделают король, королева и придворные с ребенком без тени? Олив смутно помнила, что есть и другие волшебные сказки, где герой теряет тень. Почему так страшно не иметь второго «я», не отбрасывать тени? Олив смутно поняла, что сделала младенца таким уверенным в себе и улыбающимся, чтобы подчеркнуть его необычность, отсутствие тени. Может быть, теперь его будут лелеять, защищать, запретят выходить наружу, как Спящей красавице, которую берегли от веретен, как Будде, которому не давали видеть болезни и смерть. Он жил в вечном свете полдня, и это было невыносимо. Ему придется спуститься в крысиную нору, иначе невозможно, и отправиться в мир теней, чтобы вернуть свою собственную тень. Олив представила себе королевство крыс с человеческими тенями – крыс, которые дразнят ребенка, странствующего в поисках своей тени… Нужен помощник: собака, кошка, червяк (нет, червяк не годится, хотя он проныра и живет под землей)… может быть, волшебная змея, змеи питаются крысами…

* * *

Ей никак не шло в голову подходящее продолжение. Именно в этот момент – облегчение и ужас для писателя – по гравию застучали колеса станционной пролетки. Вернулся Хамфри. Олив написала:

«Сперва король, королева и придворные заметили только, что Ланселин стал еще красивей, улыбался еще солнечней, чем им помнилось. Потом такое необычно хорошее расположение духа стало их беспокоить».

Правило, которому научилась Олив, – всегда бросать написанное *in medias res*.¹³ Она отложила тетрадь и спустилась на первый этаж, чтобы приветствовать возвращение мужа, заблудшего рыцаря. Как часто бывало, Виолетта опередила ее и уже забрала у него сумку с книгами и зонтик. Хамфри поцеловал жену и пошутил насчет ее полнеющего стана, что ей совсем не понравилось.

* * *

Хамфри отправился к себе в кабинет, чтобы просмотреть письма. Их набралась изрядная стопка: некоторые пришли неделю или две назад, другие только вчера. Олив села в кресло с плетеной камышовой спинкой в углу кабинета. Ей не хотелось возвращаться к прерванной работе и в то же время было слегка досадно, что ее прервали.

¹³ Здесь: в разгаре событий (лат.).

Хамфри читал письма, улыбаясь про себя. Он засовывал их обратно в конверты – все, кроме счетов. Из очередного конверта выпала газетная вырезка. Хамфри прочитал ее и застыл. Олив спросила, что случилось, и он протянул вырезку ей.

* * *

«Финансист найден мертвым. Обнаружен на вокзале с перерезанным горлом». На мгновение Олив решила, что это Бэзил покончил с собой, – так потрясен был Хамфри. Но это оказалось не Бэзил, а «Фредерик Оливер Хит, 38 лет, брокер с фондовой биржи. В последние три недели он лишился сна из-за проблем, вызванных потерей больших денежных сумм...»

– Ты знал его лично? – спросила Олив.

– Нет, но я знаю, что у него были неприятности из-за кафских дел. Я многое знаю, чего большинство еще не знает. Я уверен – всегда был уверен, – что Бэзил слишком глубоко увяз в грязи, намешанной Барнато, хотя, пожалуй, грязь – нечто слишком плотное, тут скорее подойдет «мутная вода», мутное облако умолчаний, сокрытий, ловких трюков и обещаний, которые никто не собирался выполнять. Бэзил, скорее всего, не продал акции, в том числе потому, что не хотел признать мою правоту... я знаю Бэзила. Нужно дать ему телеграмму. Я возьму двуколку и пони. Прости, дорогая, я только пришел и сразу...

Хамфри был неподдельно расстроен и одновременно наслаждался драматическим поворотом событий, подзаряжаясь от них энергией. Он вышел, крикнув Виолетте, чтобы велела слуге запрячь пони, чтобы подала плащ...

Олив осталась сидеть в кабинете, обдумывая полезные слова: «грязь», «мутный», «тусклый». Крысы были грязные, а их царство – мутное и тусклое. Олив на мгновение вспомнила и тут же отбросила рассказы Питера и Пити про крыс, пожирающих «тормозки» и похищающих свечи шахтеров. Она стала прибирать бумаги Хамфри, и случайно ее взгляд упал на письмо, над которым Хамфри улыбался. Оно началось словами: «О мой дорогой!»

Олив перевела взгляд на подпись. «Твоя (больше не дева!) Мэриан».

«Я не дура, – сказала про себя Олив. – Гораздо разумнее не читать это, раз оно не мне адресовано».

Но прочла.

О мой дорогой!

Тебя не было так недолго, но этого довольно, чтобы все изменилось, чтобы весь мир одновременно опустел и наполнился. Поистине я не знаю, кем я была и как жила до того, как впервые увидела и услышала тебя. Нынешняя я родилась, когда ты говорил о дивном равенстве беседующих влюбленных в «Много шума из ничего», о том, как могут любить, неведомо для себя, мужчина и женщина, и о том, как редко влюбленные в литературе чувствуют себя друг с другом непринужденно. Я думала, что научу этой мудрости своих учеников, и не видела, пока не стало слишком поздно (и да будет благословлено это промедление), что глубочайшее желание моего сердца было – достигнуть этой непринужденности с тобой, с твоим подлинным «я». Да, я оспаривала твои идеи публично, но лишь в поисках этой легкости, при которой можно высказывать что угодно. А когда ты говорил о другом – когда я почувствовала, что ты ценишь мою личность, когда впервые в жизни (пусть иллюзорно, пусть против воли) почувствовала себя красивой и желанной, – я стала твоей рабыней навечно. Хотя и не могу представить, чтобы ты стремился к роли хозяина, – ты в первую очередь друг, во вторую – возлюбленный, а я... я сияю от радости.

Мой милый, предыдущую часть письма я написала вчера. Пока ты был здесь, я не говорила, что мне нездоровится, ибо не хотела терять зря ни один миг нашего тайного, столь редкого и драгоценного времени. Но мне в самом деле нездоровилось, и теперь я знаю причину – самую естественную на свете и подлинно причину для радости, по крайней мере для меня. Я буду Матерью. Я ничего не прошу у тебя – ни помощи, ни совета, – я независимая женщина и надеюсь таковой остаться. Если все будет хорошо и непринужденность между нами сохранится в этих новых обстоятельствах, я хотела бы, чтобы мой ребенок каким-то образом знал своего отца, хотя вовсе не для того, чтобы просить о материальном. О мой дорогой! Конечно, мне страшно, но я весьма изобретательна и не возложу на тебя лишнего бремени, поверь мне, – я лишь молю, чтобы, если это не стеснит никого из нас, мы продолжали видеться.

Твоя (больше не дева!) Мэриан

Олив снова сложила письмо и несколько раз чертыхнулась. Плохо, очень плохо. Эта женщина – не какая-нибудь легкомысленная пустышка, она что-то собой представляет. Она в чем-то похожа на Олив: Хамфри для нее настоящий, живой человек; она, как написано в письме, может быть с ним непринужденной, и это должно означать, что и он так же непринужденно себя чувствует с ней. Какая-то учительница, посещавшая его лекции о Шекспире. Хамфри, несомненно, несет определенные моральные обязательства перед этой женщиной, несмотря на ее заверения в обратном и его финансовое положение.

– Черт, – снова сказала Олив, начиная сердиться, подпитывая пылающий в сердце огонь. – Черт, черт, черт.

Она совершенно искренне беспокоилась за неизвестную женщину, оказавшуюся в таком положении. Разумеется, Хамфри обязан предложить ей помочь, это его долг. Олив слишком хорошо знала то особое чувство защищенности, непринужденности, которое он пробуждал в женщинах, – она и сама любила его за это. Олив считала, что это особое качество завоевателя – умение находить всех женщин подлинно интересными – еще более редкое, чем способность Дон Жуана покорять одну женщину за другой. Если бы Хамфри вернулся домой сейчас, Олив бы, наверное, обняла его, горестно улыбаясь, и вновь убедилась бы, что привлекает его, занимает главное место в его сердце… в чем у нее, по правде сказать, до сих пор не было причины сомневаться. Но Хамфри в нужный момент не вернулся, и Олив преисполнилась обиды. Она принялась почти мстительно читать остальные письма, лежащие на столе, и обнаружила две отвергнутые статьи. «Очень остроумный анализ событий, но столь проникнутый точкой зрения автора, что мы не можем опубликовать его как выражение точки зрения нашего журнала». «Очень интересно, как всегда, но, боюсь, мы не можем выделить место для статьи, интересной лишь узкому кругу читателей». Олив ощутила тревогу: ей следовало бы сейчас зарабатывать деньги, сочиняя сказку о маленьком принце и злобной жирной крысе, а не стоять тут, тратя время на обдумывание грешков Хамфри или еще чего похуже. Над «Жабьей просекой» нависла угроза. «Черт», – сказала Олив.

* * *

Ко времени возвращения Хамфри Олив выбирала, гудела от злости, словно юла с жужжалкой. Вслед за Хамфри вошла Виолетта, на ходу отбиная у него плащ и шляпу.

– Я послал телеграмму, – сказал Хамфри. – Думаю, мне следует поехать повидать Бэзила. Я совершенно уверен, что знаю нечто весьма серьезное, чего он не знает. Дождусь ответа на

телеграмму и поеду. Если сети Барнато начали рваться, это будет иметь далекоидущие ужасные последствия... И я знаю, что это случится, вопрос лишь в том, когда...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.